

Кир Булычев
Коралловый
замок



Кир Булычев
Коралловый
замок



Москва
«Молодая гвардия»
1990

**ББК 84Р7
Р 90**

Б $\frac{4803010201-041}{078(02)-90}$ 152-90

ISBN 5-235-00876-6 (2-й з-д.)

**© Издательство
«Молодая гвардия»,
1990 г.**

Обозримое будущее



ШКАФ НЕЗЕМНОЙ КРАСОТЫ

1

Лиза бы и не обратила внимания на этот шкаф. В комиссионный приходят не любоваться вещами, а купить одну, нужную, подешевле. Лиза давно уже научила себя не видеть соблазнов, которые так и лезут в глаза. «Ты как кассир, — сказала как-то Тамара. — Миллион рублей в руках, а для тебя — как будто не деньги. Хотела бы я так жить». Тамара так жить не хотела. Она жаждала владеть всем — вещами, путешествиями, машинами, квартирами, мужчинами, но была нежадной, готова была поделиться желаемым с близкими. Особенно с Лизой.

— Лизавета! — крикнула Тамара трубным голосом. — Ты только погляди.

Лиза послушно оторвалась от кухонных гарнитуров и пробралась к Тамаре, в узкий проход между буфетами и шкафами. Рядом с Тамарой она казалась хрупкой и беззащитной.

— Шкаф неземной красоты, — сказала Тамара. — Все в него поместится. Внукам — наследство. Теперь таких не делают.

— А я там присмотрела кухонный шкафчик от польского гарнитура.

— Лизавета, не отвлекайся! Те шкафчики у всех, а этот — уникал.

Лиза покорила и стала разглядывать шкаф неземной красоты, который, видно, сделали для богатого купца: по бокам двери до полу, посредине сверху застекленный буфет, под ним полка с мрамором и выдвижные ящики, шкаф был украшен богатой резьбой, со львами, гербами и на львиных ногах.

— Наверх будешь ставить бокалы, — сказала Тамара.

— Бокалов у нас нет.

— А рюмки? На свадьбу его тетя принесла. А сбоку платья и костюмы — во весь рост... а в ящики — белье, и еще место останется. Это же мечта!

— Пойдем, я тебе кухонный шкафчик покажу.

— Ничего подобного. Молодой человек! Куда вы? Сообщите стоимость.

Вялый, развинченный продавец сделал одолжение, остановившись в устье прохода. Синий сатиновый халат камнем давил его еще юные плечи.

— Стоимость на нем написана. Мне отсюда не видно.

— Здесь семьдесят рублей. Почему так дешево?

— А кто купит? В малогабаритную квартиру не влезет.

— Это единственная причина? А он запирается? Ключи есть? Жуком не поеден? Вот видишь, Лизавета, все в норме и по высоте в вашу комнату влезет. Тем более красное дерево.

— Дуб, — сказал продавец.

— Тем лучше. Выписываем.

— Тамара...

— Если львов отпилить и продавать отдельно, каждый как минимум по пятидесяти рублей. Когда надо будет, я тебе устрою.

— А Павел Николаевич...

— Будет счастлив. Не сразу, но будет. Как только подсчитает.

— Ну, вы берете или нет? — спросил продавец.

В одной руке он держал тоненькую книжечку квитанций, в другой — ручку.

— Мы завтра вернемся, — поспешила с ответом Лиза.

— Завтра не гарантирую... Может уйти.

— Берем, — сказала Тамара, отталкивая Лизу и спеша к продавцу. А та вспомнила, что денег с собой всего сорок три рубля, а еще масла и хлеба купить надо. Наверно, у Тамары денег нет тоже, и тогда обойдется.

Деньги у Тамары нашлись. Включая двенадцать рублей за перевозку.

2

Павел Николаевич пришел домой поздно, может, лучше, что не видел, как шкаф вторгался в комнату. Долго стоял перед шкафом, покачиваясь с носков на пятки, поглаживая лысину, потом сказал коротко: «Дура».

И пошел на кухню играть с соседом в шахматы.

Лиза ждала нотации, даже затвердила текст, наговоренный Тамарой про то, что шкаф вечный, ценный, про львов, но нотация состоялась только утром. Нагоняй без повышения голоса, даже со скукой.

Павел Николаевич сел за стол в пижаме, прикрылся газетой — себя и яичницу отделил от жены. Голос исходил из-за газеты, видны были только крепкие пальцы с аккуратно срезанными ногтями, которые постукивали по краям газетного листа.

— Я выделял средства на приобретение кухонного шкафа, — информировал он Лизу. — Желательно белого цвета. На какие шиши мы его теперь купим? Погоди, я не кончил. Соображение второе: в конце года мне выделяют на предприятии двухкомнатную квартиру. Прописывая тебя в прошлом году на московской жилплощади, я рассчитывал на определенную отдачу в смысле увеличения шансов на метраж. Однако в малогабаритной квартире, даже если этот чурбан в нее влезет, он сожрет все увеличение площади. Ты об этом подумала?

— Но он почти вечный... И львы.

— С тобой в магазине Тамарка была? Предупреждаю, что дальнейшего ее пребывания в своем доме я не потерплю. Учти.

Павел Николаевич встал и пошел переодеваться. От большого волнения он не допил чай с молоком. Лизочка молчала как мышка. Она сама ничего не ела, да и не хотелось. Павел Николаевич быстро собрался и ушел. А Лизочка достала с верхней полки на кухне, из-за пачек с солью, сигареты, вернулась в комнату и закурила, открыв форточку. Если Павел Николаевич узнает, что она себе позволяет, наверно, подаст на развод. Лизочка глубоко затягивалась, из форточки тянуло мокрым ветром, она думала, что Тамара все равно будет приходить, куда ей без Тамары.

Убирая со стола, смотрела на шкаф, он ей нравился больше, чем вчера, может, из-за нотации. Шкаф был нежеланным в этом доме — большой, пузатый, со львами, а нелюбимый.

Тамара прибежала без звонка, чтобы ехать на завод, а на самом деле хотела полюбоваться шкафом и узнать, что Лизе за него было.

— Гляжу, — сказала с порога, — что вещи не порушены, а у тебя синяка под глазом нету. Что, обошлось?

— Сердится, — сказала Лиза. Конечно, Павел Николаевич ее ни разу и пальцем не тронул. А вещи рушить при его бережливости даже смешно.

— Что говорил?

— Не велел тебя пускать.

— Ты, конечно, все на меня свалила.

— Сам догадался.

— А я, значит, черный демон, дух изгнанья? Ну и шут с ним, с твоим пузырем. Давно бы от него сбежала...

— Тамара!

— Не умоляй. Лучше пепельницу принеси. Где рюмки? Поставить надо. Они сквозь стекло будут просвечивать, как во дворце.

— Пойдем, пора уже.

В автобусе Тамара все рассуждала, отгородив Лизу грудью от публики.

— Ну если бы ты рвалась в столицу, к цивилизации. А ты ведь и в своих Кимрах жила не хуже...

— Не знаю.

— А что ты здесь видишь? Он хоть в театр тебя водил? Ну не сейчас, а когда ухаживал?

— Ты же знаешь...

— Знаю. И не ухаживал. Приехал к родным в Кимры, увидал, что ты у тетки полы моешь, и увез.

— Тома.

— Только не утверждай, что ты этого борова любишь. Такая любовь не имеет права на существование.

Лиза ждала остановки. Там им в разные стороны: Лиза — аппаратчица, а Тамара — машинистка в заводоуправлении.

3

Вечером Лиза задержалась, собирала профсоюзные взносы, потом забежала в магазин. Павел Николаевич уже был дома и не один. Привел своего знакомого столяра. Они вместе простукивали шкаф, выясняли ценность, а Лизочка собрала на стол, хорошо, что четвертинка нашлась. Павел Николаевич сам пьет редко, только в компании, но на всякий случай держит запас.

Проводив гостя, Павел Николаевич встал против шкафа, сам — как шкаф.

— Настоящий дуб, — сказал он, не глядя на Лизу. — Ты его покрой мебельным лаком, тонкий слой накладывай, а трещины замажешь коричневым карандашом.

Потом он ушел к одному профессору, машину ему чинить, а Лиза занялась шкафом. Вымыла, протерла лаком, трещины замазала. Внутри посыпала нафталином. В нижнем ящичке нашла какие-то карточки с дырками по краям. Ящик был объемистый, но неглубокий. Что в него положить, Лиза пока не придумала. Зато наверх, под ~~стек~~

ло, поставила рюмки, подаренные к свадьбе, и старый фарфоровый чайник с отбитым по краю горлышком, с трещинкой на крышке, но очень красивый — старинный, с птицами.

Лизе было интересно представлять судьбу шкафа, воображать, как барышня в белом платье до пола отворяла его, чтобы вынуть хрустальный графин с лимонадом, и наливала в хрупкий бокал.

Когда Павел Николаевич вернулся, усталый, он первым делом вынул чайник, чтобы не портил вида. Лиза, разумеется, не спорила. Она думала, что он вообще-то человек незлой и справедливый, но стесняется, что она может принять его за ровню, как бывает в иных семьях. Но ей это и в голову не приходило. Все-таки разница в возрасте больше двадцати лет. К тому же старший механик, золотые руки. А что она выдела? Кончила восемь классов, работала в магазине, ездила в туристскую поездку в Киев, даже не мечтала, что будет жить в Москве... Правда, если бы мечтала, то, конечно, не так, как получилось.

В шкафу всему нашлось место. Даже ненужным вещам. Павел Николаевич ничего не выбрасывал и любил рассказывать, как выбросил какой-то винт, а понадобилось, пришлось рыскать по магазинам. А у Лизы хорошая память, молодая, она всегда помнит, где что лежит: «Лиза, где белый провод? Лизавета, где ручка от рыжего чемодана?»

А теперь все в шкафу. И все равно нижний ящик слева пустой.

4

Тамара поджидала Лизу в проходной.

— Держи, — сказала она. — Билеты в театр. В месткоме раздобыла. Пятнадцатый ряд партера.

— И мне идти?

— Со мной пойдешь.

— А как же Павел Николаевич?

— Наш местком-то. Он все равно бы не пошел. «Дама с камелиями». Дюма написал. Ты «Три мушкетера» читала?

— Читала. Только это другой Дюма. Дюма-сын.

— Удивляюсь я тебе иногда. Все ты знаешь, а ни к чему. Так пойдешь?

— Если Павел Николаевич...

А Павел Николаевич не возражал. Только спросил,

какова цена билетам. Лиза была готова к вопросу и сказала, что через местком, бесплатные.

— Тогда надо посетить, — сказал он. — Иди.

Нельзя сказать, чтобы он был страшно жадный, но копил на обстановку в новой квартире, чтобы все, как у людей. Тамара говорила: «Ты, Лизавета, учти, он всю жизнь будет копить, передохнуть не даст. Сначала на гарнитур, потом на машину, потом еще чего придумает».

Лиза за полтора года ни разу в театре не была. Даже в кино только раза три ходила. Да что там — свадьбу не праздновали. Свадьба была без белого платья, без машины с куклой на радиаторе и в красных лентах. Скромно справили. Товарищи Павла Николаевича пришли, сосед, тетка. Даже не целовались. Когда кто-то «горько» крикнул, на него с таким удивлением посмотрели, что осекся.

Лиза открыла шкаф, будто не знала, что там одно выходящее платье, синее, еще в Кимрах шила, а оно на груди не сходится и ужасно немодное.

— Я завтра задержусь, — сказал Павел Николаевич, не глядя, как жена старается натянуть платье. — Голодный приду. Учитываешь?

— Да-да, я все оставлю. Приготовлю и оставлю.

Павел Николаевич удивился, поднял глаза от кроссворда, но вспомнил, что сам санкционировал театр и вздохнул с некоторой обидой.

В синем платье идти в театр было невозможно. Лучше вообще отказаться и не позориться перед людьми.

— Не пойду я никуда. Ты не беспокойся, все будет готово.

Павел Николаевич полной розовой рукой снял очки, пригляделся к ней, как к дурочке.

— Билет пропадет. Нельзя не посетить. А я уж как-нибудь...

Павлу Николаевичу важно было оставить за собой последнее слово. И обиду. Если Лиза не пойдет, то в обиде будет она. Это не годится.

А Лиза думала, что туфель тоже нету. Только чтобы по городу ходить. Можно сапоги бы надеть, приличные, но кто сапоги в сентябре в театр надевает? А что если взять трикотажную кофточку и к ней юбку?

Лизой овладело странное лихорадочное смятение. Будто сама судьба не допускает ее в театр, и никогда уже туда не попадешь в жизни.

Павел Николаевич собрался спать, погасил свет, а Ли-

за унесла платье на кухню, кое-где распорол, но зазря. И заплакала. Беззвучно плача, вернулась в комнату, выдвинула нижний, пустой ящик, забросила платье и туфли — чего вешать-то распоротое? — легла, раздевшись, к краешку, чтобы не беспокоить Павла Николаевича, и долго не могла заснуть, переживая в дремоте сказочные картинки. Вот входит она в театр — роскошно одета, платье на ней, как на той барышне из прошлого, сверкают люстры, и все оборачиваются к ней, любуясь ее прелестью... и в зеркалах она отражается, любуясь сама собой. А во сне это видение преследовало ее, и во сне она понимала, что это неправда, что это видение.

Утром Лиза чуть не проспала на работу, обошлась опять без завтрака, а в обед увидела Тамару и сказала ей:

— В театр я не пойду.

— Ты с ума спятила! Твой взбунтовался?

— Нет, разрешил. Я сама.

— Что случилось? Ты человеческим языком объясни. Тебе одеть нечего?

Ну прямо в точку попала! Лиза промолчала.

— Ты думаешь, там в бальных платьях ходят? Нет, кто в чем.

— И ты пойдешь в чем есть?

— Разумеется, — соврала Тамара. Она недавно купила платье, итальянское, пониже колен, с оборками. Еще не пробовала.

— Я тебе свое шерстяное дам, — сказала Тамара.

Лиза только усмехнулась. Заворачиваться в него, что ли?

— Тебе, — кричала Тамара, когда они возвращались в автобусе, — с твоими внешними данными можно в спецовке ходить. Пошли в парикмахерскую. Римма без очереди нам прически сделает. Не хочешь? Ну ладно, я за тобой зайду.

Лиза только покачала отрицательно головой.

5

Наверно, с полчаса Лиза сидела на стуле, просто убивала время, чтобы скорее начался спектакль, потом поздно будет расстраиваться. Но сидеть не удалось. Сосед позвал к телефону — звонила Тамара.

— Лиза, я за тобой не успею. У Риммы задержусь. **Буду** — смерть мужикам. Я тебя у входа жду. Усекла?

Если не придешь, внутрь не войду и вечер себе погублю. Может, даже будущую прекрасную семейную жизнь.

И хлопнула трубкой — не дала возразить.

Вернувшись в комнату, Лиза уже не села. А что если она и в самом деле Тамаре жизнь погубит? Никогда этого себе не простит. Разве важно, как кто одет? Там и не заметят... В зале посидит. Жаль, что платье распорото. Полчаса осталось до выхода.

Лиза открыла дверцу. Там только выходной костюм Павла Николаевича и ее халат. Куда же она вчера платье сдуру сунула? Ну конечно же, в нижний ящик... Лиза вытащила платье.

Это было другое платье. Тоже синее, но тянулось оно долго, словно кто-то пришил к нему снизу еще метр материи. И материал изменился, превратился в бархат, расшитый мелким жемчужным бисером...

«Павел Николаевич», — подумала сначала Лиза. Понимала, что такая мысль равна крушению мира, потому что Павел Николаевич такого сделать не мог...

Лиза укололась. Из платья торчала иголка с ниткой — ее иголка, сама вчера воткнула, в старое. А где же оно?

Лиза приложила к себе платье. Нет, придется примерить. Хотя оно и не свое, но и чужим быть не может. Какое бы ни было объяснение...

Платье держалось на плечах тонкими полосками, как сарафан, — лифчик под него не годился. Надо достать купальник, он без лямок.

Платье скользнуло на нее, как живое, словно только и ждало, чтобы обнять. И стало ясно, что для нее шилось. Доставало оно до пола и делало Лизу выше ростом и тоньше — потому что темное и строгое от жемчужного узора.

Лиза протянула руку в ящик за туфлями — не страшно, что такие, не видно, — но туфли тоже подменили. Они стали синими с серебром, словно специально для платья.

Вот и идти можно... Подумав так, Лиза улыбнулась, потому что в таком одеянии нельзя идти без прически. Но делать ничего особенно не стала. Попудрилась, правда, губы подвела. Никогда этого не делала, но помада и пудра у нее были, на всякий случай, может, чтобы не забыть, что ты молодая.

А что теперь с волосами делать? Конечно, знай заранее, она бы побежала в парикмахерскую, взбила бы волосы, завилась, а то ведь просто патлы — простые, прямые, правда, густые, пепельные. Обычно закручены в косу и на

затылке пучком. Теперь же Лиза их распустила, расчесала... да пробили часы. Половина! Ей за пятнадцать минут никогда не добраться. Неужели все пропало? Не пустят?

Лиза схватила кошелек, накинула серый плащ — и на улицу. И там еще одно преступление совершила — мимо такси проезжало, рука сама поднялась. Она, конечно, сразу руку опустила — вдруг Павел Николаевич увидит, но машина уже затормозила: бывает же, как назло, в парк водитель не спешил, обедать не ехал — пожалуйста, хоть на край света. Улыбается.

Добрались до театра без трех семь. Тамары у входа уже не было. Лиза сдала плащ на вешалку, но от бинокля отказалась — и так рубль на такси выкинула, задержалась на секунду перед зеркалом поправить волосы — и оказалось, что такой она себе и снилась. А за спиной мужчина остановился и смотрит.

Зал гудел, ждал начала, надрывался звонок, словно артисты боялись, что люди не успеют рассестись. Лиза достала из кошелька билет, чтобы вспомнить, какое место.

— Разрешите помочь вам, — другой мужчина рядом стоит, блондин, на вид солидный, а ведет себя, как мальчишка на танцверанде.

— Сама найду.

— А если вам понадобится все-таки помощь — только взгляните.

А Лиза и не глядела на него. В ушах звон, лица мелькают, одеты, правда, зрители по-разному, но есть и в длинных платьях. А она — лучше многих.

В пятнадцатом ряду возвышалась черная башня — Тамарина прическа. Такая тяжелая башня — вот-вот повалит набок голову. Лиза пробиралась к подруге, платье чуть шуршало, и шуршание смешивалось с остальным театральным, праздничным шумом. Хорошо бы место не занято, а то, бывает, продают два билета на одно место. Тамара обернулась и сказала:

— Место занято. — И тут же завопила чуть не на весь зал: — Лизавета! Я глазам своим не верю!

Язык ее метался, говорил, а глаза, вишневые глазищи, прыгали по Лизыным плечам и синему бархату, цеплялись за жемчужины, и, когда уже Лиза села, Тамара сказала шпionским шепотом:

— Я сейчас умру. Что ты с собой сделала?

— Ничего, — сказала Лиза, и ей было приятно. — Нашла одно платье...

— Нашла? И туфли наша? И эти плечи наша?

Сзади кто-то заворчал: «Потише, действие уже начинается».

Но для Тамары спектакля уже не было. Такого приключения Тамара еще не переживала. А Лиза уже смотрела на сцену, потому что платье ей было нужно не для показа, а как пропуск в театр и без театра не нужно.

Блондин впереди мешал — оглядывался. Тамара мешала, ахала. А Лиза смотрела спектакль.

Как встали в антракте, Тамара вцепилась как клещ — признавайся. Они пошли в буфет, встали в очередь за пирожными и лимонадом, но достоять до конца не удалось, потому что тот блондин уже успел все взять и даже бутерброды с икрой и позвал их к столику, словно знакомый. Лиза даже возмутиться не успела, а Тамара уже среагировала:

— Спасибо за приглашение.

Мужчина был возбужден, шутил, говорил без остановки, а Тамара хихикала, словно все это происходило из-за нее, а Лизе было немножко все это смешно, и приятно было услышать, как девчата за соседним столиком спросили: «Ты забыла, ее по телевизору в постановке показывали. Из Тургенева».

Второе действие Тамара тоже мешала смотреть — очень ей блондин с бутербродами понравился. Уже узнала, что его зовут Иваном. Ах, Тома, неужели тебе непонятно, почему блондин такой старательный?

— Он в НИИ работает, — шептала Тамара на ухо, — очень интересный. Только нос мне не понравился. Слишком крупный. Но ведь нос — не самое главное для мужчины, а ты как думаешь?

Лиза снова ее не слушала.

В общем, вечер выдался хороший. И пьеса отличная, и актеры играли отлично. А Лиза как будто изменилась — какое-то магическое влияние оказывало на нее синее платье. Когда на лестнице после спектакля стояли, одна жемчужинка от платья отлетела. Так что, Лиза бросилась ее искать? Ничего подобного. Иван к ее ногам — подобрать, а какой-то седой старик сказал с улыбкой:

— Зачем разбрасывать драгоценности, девушка?

Иван протянул жемчужину, а старик сказал:

— Чудесный жемчуг. Японский? Разрешите... — повертел в пальцах и добавил: — Я — старый геолог и, дол-

жен сказать, разбираюсь. Впрочем, вы так прекрасны... — и вздохнул. Лиза даже покраснела.

А Тамара Ивану свой телефон диктовала. Зря это, не понимала она простой мужской тактики. Тамара для него — ниточка, не больше. А ей, Лизе, все это ни к чему. У нее дом, Павел Николаевич, работа. И не будет завтра ни туфель, ни платья — и на том спасибо. Кому спасибо? Шкафу?

Внизу Иван занял очередь в гардероб, Тамара отлучилась, а к Лизе подошел молодой человек, знакомый на вид.

— Пани Рената? — сказал он. — Я вас узнал.

— Я не панц, — сказала Лиза. Еще чего не хватало. И тут же узнала. Актер. И даже известный. Только позавчера по телевизору выступал.

— Прбстите, — сказал актер. — Признаюсь, что не знал, как мне подойти к вам. И придумал начало — про Ренату. Разве плохо придумал?

Лиза сказала, что плохо, но улыбнулась, потому что актер был очень обаятельный. Тем более что с разных сторон на них смотрели и все мучились вопросом: с какой красавицей разговаривает тот актер?

Но тут же разговор и кончился. Вернулся Иван с плащами, увидел актера и сразу стал такой сухой, вежливый, что недалеко до неприятностей. Лиза по старым временам знала, что тут надо парней разводить, а от Тамары проку нет — она как увидела, какой у Лизы новый поклонник, — челюсть отвисла.

Лиза — плащ через руку, ничего, на улице оденется, другой рукой Ивана подхватила и к выходу, даже не попрощавшись с актером.

На улице Иван вспомнил и сообразил:

— Убежим от нее?

Это он имел в виду Тамару. До чего проста мужская хитрость!

— Нет, — сказала Лиза почти весело. — Не убежим.

— Лиза!

— И провожать не надо. Прошу вас, не портите вечер. Хороший вечер.

— Хороший, — признался Иван, но с такой печалью, словно на вокзале.

Лиза спохватилась, что все еще держит его за руку. Отпустила и поглядела на часы. Половина одиннадцатого. Павел Николаевич уже домой пришел, сердится. И такой большой показалась дорога между театральным подъез-

дом и комнатой с одной лампочкой под потолком, в двадцать пять свечей — больше экономя не позволяет.

Глаза у Ивана грустные и совсем не нахальные. Лиза знала: что она ему сейчас прикажет, то он и сделает.

— Уходите, — сказала она. — А то сейчас выйдет Тамара, и я так сделаю, что вам ее придется домой провозжать.

— Я и на это готов.

Но послушался, ушел. И вовремя. Потому что выскочила Тамара — черные вавилоны на голове наперекосяк.

— Ты знаешь, меня этот, артист, задержал. Кто, спрашивает, такая, почему не знаю? Ну просто с первого взгляда рехнулся. Слушай, он еще там стоит. Он решил, что Иван твой муж. Я ему телефон мой дала.

— Зачем?

— Как зачем? Кроме всего прочего — билеты обеспечены. На самый дефицитный спектакль. Ты понимаешь?

Лиза махнула рукой и побежала к остановке троллейбуса. А Тамара осталась. Металась между подъездом и Лизой. Потом вспомнила и крикнула вслед:

— А Иван где?

6

Лиза поднялась по лестнице, открыла дверь своим ключом. В коридоре было темно, только в щель из-под двери комнаты пробивался свет. Не спит. Плохо, придется платье показывать.

Лиза стояла, не входила. Ей стало себя жалко. И не может она рассказать Павлу Николаевичу про спектакль, и про старика профессора, и как переживала Тамара. А ведь со своими товарищами он разговаривает, что-то ему на свете интересно... И Тамара завтра по всему заводу раззвонит, и еще не придумано, откуда у нее платье... Она вошла в комнату.

Павел Николаевич ее не видел. Он сидел на полу перед шкафом, лысина поблескивала под лампой, а вокруг разложены разные приборы. Нашел время свои завалы разбирать...

— А, — сказал он, не оборачиваясь. — Явилась, не запылилась.

Голос не обиженный, не сердитый. Выговора не намечается.

— Что ты делаешь? — спросила Лиза, снимая плащ. — Ужипнал?

Только тут поняла, что шкаф распахнут, а нижний ящик вытянут на пол.

— Понимаешь, заглянул туда, думаю, как использовать — пустой ведь. И при первом же расчете пришел к выводу о том, что ящик не до конца задвинут. Следовательно, там что-то находится.

Павел Николаевич был необычно говорлив. Доволен собой.

— Значит, я его вынул — и оказался прав. Там деталей целый вагон. Кто-то прятал с тайной целью. Смотри, трансформатор миниатюрный. Разве у нас такие делают? А провода отсоединенные, я отдельно складываю. У меня один человек есть, он из них ремешки вяжет, по три рубля с руками отрывают. И схемы транзисторные. Тонкая работа. Я уже шестнадцать панелей снял, а там еще сколько осталось! Хочешь, погляди.

Он говорил и говорил, не глядя на Лизу, а Лиза стояла, прекрасная, как принцесса, и понимала, что шкаф убит. Никакой сказки — шкаф оказался прибором, чтобы осуществлять желания. Люди старались, изобретали...

— А ведь люди старались, — сказала она тихо.

Удивленный не столько словами, сколько тоном Лизы, Павел Николаевич поднял круглую голову.

— Старались бы — не сдали в комиссионку.

— Наверно, случайность вышла, ошибка.

— Не надо было сдавать. — Он отгонял сомнения и опаску. — Я уже предварительно подсчитал — больше чем на сорок рублей получается.

— Люди старались, и он еще много мог сделать...

— Не мели ерунду, — Павел Николаевич нырнул в шкаф — голос оттуда доносился глухо. — Что за платье надела? У Тамарки взяла?

Ответа он не ждал, Лиза и не стала отвечать. Не поверит. А поверит — еще хуже: разозлится, что не сказала вовремя. «Могла записку оставить, мы бы его использовали». Лучше, что не использовал.

— Ты с платьем аккуратнее. Если пятно или что...

Лиза смотрела в зеркало. Бледное, незнакомое лицо и глаза большие и темные — одни зрачки.

Что-то внутри шкафа зашуршало, лопнуло. Тяжело дышал, старался Павел Николаевич.

И Лиза слышала свой голос. Только потому и догадалась, что свой, что больше некому было так пронзительно, зло, отчаянно кричать:

— Вылезай! Кончай сейчас же! Люди же старались...

КОРАЛЛОВЫЙ ЗАМОК

Над дачным поселком висела розовая пыль. Поселок был устроен всего пять лет назад, и молодые яблони поднялись чуть выше человеческого роста. Крыши времянок блестели под солнцем. Коралловая пыль медленно оседала на крыши, на листву и искрилась, словно иней.

Сооружение на краю поселка спасатели уже прозвали «замком». Говорили, что утром оно и на самом деле было схоже с готическим замком, украшенным острыми башенками и флюгерами. Теперь же сооружение ни на что не было похоже. Розовая, с желтоватыми потеками глыба размером с трехэтажный дом пузырилась наростами, между которыми образовались впадины и ямы.

Метрах в ста, за линейкой сосен, пролетало шоссе. Пораженные странным зрелищем шоферы останавливали машины, Грикуров уже вызвал милиционеров, и те, маясь от жары, перехватывали любопытных, не пропускали к поселку.

Жители ближайших времянок были выселены. Часть вещей они перетащили в дальние дома, остальные так и остались лежать на траве. Все это напоминало пожар, розовую пыль при некотором воображении можно было представить дымом, а дачников, расположившихся на матрасах, в соломенных креслах и на старых кушетках, приять за погорельцев. Не хватало лишь страха и суматохи, обязательных при большом пожаре.

Грикуров не успел позавтракать. Между разбудившим его звонком и появлением машины прошло минут десять, не больше. Приехавший за ним молодой человек был так взволнован, что пришлось отказаться даже от кофе. Разумеется, дачники не отказались бы накормить Грикурова, но сами они не предложили, а напрашиваться он не стал — рабочие тоже были голодны, а посланный на «газике» в станционную столовую старшина до сих пор не вернулся.

Грикуров подошел к палатке, в которой устроились химики, но войти в нее не успел.

— Кушак приехал, — сказал сзади молодой человек. Говорил он тихо, со значением и обладал завидной

способностью всем своим видом показывать, что знает больше, чем может показать непосвященным.

— Кто приехал?

— Кушак, Николай Евгеньевич, из Ленинграда.

— Ясно, — сказал Грикуров, поворачиваясь к дороге, где скопилось уже несколько «газиков», «Волг», стояла красная пожарная машина и «скорая помощь». Санитары дремали под кустом сирени, пожарники играли в волейбол с девочками из поселка.

У серой «Волги» стоял, глядя зачарованно на замок, высокий худой мужчина в слишком теплом, не по погоде костюме, с плащом, перекиннутым через руку.

Грикуров подошел к нему. Кушак протянул узкую прохладную кисть, потом достал из кармана мокрый платок и вытер пот со лба и залысин.

— В Ленинграде, знаете, дождь, — сказал он, словно оправдываясь. — Трудно было предположить, что в Москве такая жара.

— А вы плащ в машине оставьте, — посоветовал Грикуров.

— Правильно. Спасибо. Ведь машина подождет?

— Конечно.

— Поздно спохватились, — сказал Кушак. — На какую глубину он уходит?

Они подошли к замку. Он нависал над ними, как бочка над муравьями. Рядом была глубокая яма, возле которой валялась лопата.

— Вот видите, на два метра мы углубились, потом бросили.

Навстречу шагнул похожий на мельника бригадир бурьльщиков. Брови, волосы, ресницы его были светло-розовыми. Розовая пыль пятнами покрывала комбинезон.

— Зарастает, — пояснил он. — Если заряд заложить, успели бы.

— Сами понимаете, что нельзя, — сказал Грикуров.

— А так — мартышкин труд, — сказал бригадир. Он сплюнул. Плевков был розовым.

— Отзывается? — спросил Грикуров.

— Стучит, — ответил молодой человек, шедший на полшага сзади.

— Сначала мы подумали, что эти звуки представляют собой некоторое подобие азбуки Морзе, однако затем мы пришли к выводу, что первоначальное заключение ошибочно...

Кушак покосился на блестящий портфель молодого человека, к которому почему-то не приставала пыль.

Со стороны Москвы показался вертолет. Вертолет летел низко и чуть в сторону. Но в полукилометре пилот разглядел замок и свернул к поселку.

— Я его вызвал, — сказал Грикуров. — У нас один парень забрался почти до вершины, но пришлось вернуться. Мне кажется, что наверху есть отверстие. Иначе бы он задохнулся.

— Может, ему с вертолета обед спустить? — спросил бригадир.

Он взмахнул рукой, показывая, как обед попадет к человеку, заключенному в замке. Взлетела розовая пыль, и молодой человек отстранился, оберегая портфель и костюм.

— Как его зовут? — спросил Грикуров.

— Вы не знаете?

— Только фамилию. Вольский. Правильно?

— Вольский. Гриша Вольский. Никогда не знал его отчества.

— Григорий Винаминович, — подсказал молодой человек. — Он является владельцем садового участка. Однако там мог оказаться кто-то иной?

— Нет, — улыбнулся Кушак. — Это именно он. Когда его обнаружили?

— Часов в шесть утра его сосед позвонил в Москву Со станции.

— В шесть сорок, — поправил молодой человек.

— Сосед рано поднялся, собирался на рыбалку. И вдруг увидел, что на крайнем участке стоит розовый термитник. Метров в пять высотой.

— Это сосед сказал, что термитник?

— Да, он инженер, работал в Гвинее и видел термитники, — объяснил Грикуров. — А мне вот не приходилось.

— Я тоже не видел термитников, — сказал Кушак.

— А потом уж ребята прозвали его замком.

— Ну и что сосед?

— Услышал стук изнутри. А выхода из термитника нет. Он Вольского вчера вечером видел. Тот строил на участке какую-то загородку.

— Ну разумеется, — сказал Кушак.

— Сосед обалдел, — сказал бригадир. — Представляешь, идет на рыбалку, а у соседей сооружение. А изнутри стучат. Он и позвонил в милицию, — сказал Грикуров. — Приехал наряд — патрульная машина с шоссе.

Ничего понять не смогли. А дальше все развивалось в геометрической прогрессии.

Грикуров показал на скопление машин у поселка.

— Позвать соседа? — спросил Грикуров.

— Гражданин Нестеренко отбыл в Москву, — уточнил молодой человек. — У меня все его показания при себе. — Молодой человек хлопнул чистой ладонью по блестящему боку портфеля.

— Он нам не нужен, — сказал Кушак.

Кушак подошел к розовой громаде замка и постучал костяшкой пальца по стене. Розовая масса чуть-чуть пружинила и, если приглядеться внимательно, была усеяна мелкими порами.

— Быстро меня разыскали, — сказал Кушак.

Розовые рабочие стояли, опершись о буры, и разглядывали Кушака. Перед ними в стене была глубокая впадина с оплывшими краями. Нижний ее край поднимался валиком, будто замок спешил залечить нанесенную бурами рану. Под ногами скрипела розовая крошка. В одном месте из нее выглядывала вершинка розовой пирамидки.

— На глазах выросла, — сказал один из рабочих, проследив за взглядом Кушака.

— Понятно, — сказал Кушак.

Изнутри, словно из бочки, донесся глухой удар. Потом серия коротких.

— Как бы он не задохнулся, — сказал Грикуров.

Вертолет, сделав последний круг над замком, спустился неподалеку, в поле. Уходя к машине, Кушак услышал, как подбежавший к Грикурову пилот говорит:

— Там дыра есть. На самой вершине.

— Вы слышали? — крикнул Грикуров вслед Кушаку.

— Я так и думал, — остановился Кушак. — У него тенденция расти по вертикали.

Кушак достал с заднего сиденья «Волги» чемодан. Настроение не улучшилось. Конечно, ничего страшного не случилось, но могло случиться. И виноват в этом только он сам. Кушак открыл чемодан. Ампулы были целы.

— Бурильщики вам нужны? — спросил, возвращаясь, Грикуров.

— Нет, я один справлюсь.

Вместе с Грикуровым к машине подошел один из химиков, расположившихся в палатке.

— Вас анализ интересует?

— Спасибо, я знаю состав.

— Там ничего особенного, — сказал химик.

— Тогда я отпущу бурильщиков пообедать, — сказал Грикуров.

— Конечно, вы, наверное, и сами голодны?

— Это полезно, — сказал Грикуров. — А то я толстеть начал. Стыдно.

Грикуров провел ладонью по круглому крепкому животу. Теперь, когда появился человек, знающий, что надо делать, Грикуров сразу помолодел, скинул лет десять. К Кушаку он проникся благодарным расположением.

Гришу Вольского Кушак знал еще по школе. Класса с третьего. Гриша Вольский собирал марки и монеты. Гриша был самым младшим в классе. Он был белокур и похож на ангела. Мать Гриши жалела его прекрасные кудри, и потому волосы у Вольского были длиннее, чем у других ребят, и он дольше всех носил короткие штаны и гетры. В войну этот наряд выглядел странно, и Гришу дразнили девчонкой. Гриша краснел и смущенно улыбался. Уже потом, подружившись с Кушаком, он сказал как-то:

— Мама очень хотела девочку, а папе было все равно.

Гриша был тихий, учился прилично, в классе к нему привыкли и не обижали. Тем более что Гриша всегда находил себе друга и покровителя из сильных ребят. Если Грише нужна была марка или какая-нибудь другая вещь, он не жалел времени и усилий, чтобы ее раздобыть. Брал он настойчивостью и терпением, не свойственными возрасту, провожал хозяина нужной вещи до дома, давал списывать на контрольной и угощал мамными бутербродами. Он мало ел, потому что в войну бутерброды были выгодным обменом. Кушак с седьмого класса считался другом Гриши. Гриша умел вовремя сказать, что Кушак очень хороший парень, замечательный спортсмен, такой талантливый и добрый. Кушак не цеплял вещей, и Вольский всегда у него чего-нибудь получал. А Кушак привык к искреннему восхищению, которым его обволакивал Гриша.

В десятом классе Кушак встречался с одной девушкой, а Вольский был его оруженосцем. Он передавал записки, стоял в очереди за билетами в кино и даже ходил с ней в кино, когда у Кушака оказывалась неожиданная тренировка или кружок в университете. Однажды та девушка сказала, что больше с Кушаком встречаться не будет, потому что сделала выбор. В пользу Вольского. Пусть

Вольский маленького роста и не так знаменит в школе, но по своей отзывчивости и другим человеческим качествам он превосходит Кушака. Кушак был склонен примириться с потерей, потому что готовился к соревнованиям, но кто-то в классе пошутил, что Вольский выцганил у Кушака девушку, наверное, за бутерброд — все помнили о бутербродах военных лет. Кушак обиделся на Вольского, и все думали, что он Гришу изобьет, но Кушак его не тронул. Вольский смотрел на него робко, жутко раскисался и, как сам признался лет через пятнадцать, готов был в любой момент отказаться от девушки ради дружбы. Но девушка была против.

Кушак вернулся к розовому замку и, присев на корточки у раскрытого чемодана, начал собирать распылитель. Грикуров стоял рядом, молчал, думал, успеет ли домой к семи тридцати, к началу футбольного матча. Еще полчаса назад такие мысли не приходили Грикурову в голову — замок казался зловещей и неодолимой загадкой.

— Хорошо, что внутри человек сидит, — пробормотал Кушак, не поднимая головы.

— Почему? — удивился Грикуров.

— Какая-нибудь светлая голова додумалась бы кинуть на замок бомбу или подложить заряд. Колония бы разлетелась на куски и прижилась. Имели бы тридцать замков вместо одного.

Кушак махнул рукой в сторону заметно подростевшей пирамидки.

— Колония? — спросил Грикуров. Он раздобыл где-то белую панамку, и в ее тени лицо казалось совсем черным, лишь голубели белки глаз.

— Колония, — Кушак кивнул в сторону палатки химиков. — Они вам, наверное, уже сказали?

— Я не очень поверил. А что вы будете делать?

— Это активная культура бактерии, которая их убьет.
Чума.

— А не опасно?

— Чума только для них. Ни людям, ни растениям ничего не угрожает.

Они встретились через пятнадцать лет на стоянке такси. Кушак к тому времени переехал в Ленинград и бывал в Москве наездами. Наверное, поэтому и не приходилось встречаться со школьными товарищами. Кушак обрадовался, увидев Вольского. Вольский не потерял сходства

с ангелом, хотя золотые кудри поредели и узкое тело равномерно обросло жиром. В тридцатилетнем мужчине сходство с ангелом не так чарует, как в мальчишке. Вольский был одет в недорогой, но тщательно отглаженный костюм. Галстук тоже был недорогой, скромный, но респектабельный. Вольский был строителем и сравнительно высоко поднялся по служебной лестнице. Он очень интересовался жизнью Кушака. Спрашивал, повторял с сожалением:

— Только младший научный? Чего же ты, Коленька? И диссертацию не защитил? Чего же ты, милый? Ты же такие надежды подавал! — В голосе Вольского звучали материнские интонации.

Хотя нет, Кушак подумал, что, паверное, так реагировал на рассказ блудного сына его удачливый и послушный брат, пока на кухне свежевали тельца.

— И марки все собираешь? Нет? А я собираю, хоть времени мало. Не отказываюсь от детских привязанностей. Нужно расслабляться. Правда? У меня восемь медалей за участие в выставках. Ты случайно не видел последний номер «Заммлер экспресс»? Это филателистический журнал из ГДР. Солидное издание. Там обо мне написано. А что-нибудь от старой коллекции осталось? Подарил кому-нибудь? У тебя неплохие вещи были, я очень жалел, что не выменял их в свое время. Помнишь, в шкафу альбомы лежали? На нижней полке. Так и лежат? Здесь? У стариков? Не может быть?

Вольский затащил Кушака к себе.

— Ты же в Москве редко бываешь. Хочешь, чтобы мы еще десять лет не увиделись? Не хочешь? Тогда пошли. У меня кооперативная квартира. Две комнаты с лоджией. А мама в старой осталась. Недалеко, час потеряешь, не больше. И не мечтай отказываться.

У Вольского дома оказалась бутылка сухого вина, припасенная для гостей. Вольский подробно рассказывал, как, будучи членом правления кооператива, раздобывал польские кухни и дубовый паркет. Кушак жалел, что зазя потерял вечер, рассматривая марки, которые расплодилось настолько, что занимали целый шкаф, запирающийся на ключик. Вольский записал адрес и телефоны Кушака, сказал, что придет навестить, заодно возьмет у него марки.

— Если они, конечно, Коленька, тебе не нужны. За повники я, разумеется, плачу, но ведь у тебя так, мелочь.

Кушак вспомнил, что собирался подарить марки племяннику.

— Сколько племяннику лет?

— Десять.

— Ты с ума сошел, он же ничего еще не понимает. Я ему подберу из дублетов, мы его не обидим. Зачем так, Коленька? — сказал он. — Ты же знаешь, как я всегда к тебе относился.

В комнате Вольского было много лишних вещей. Как и раньше. Солдатики и автомобильчики школьных лет сменили фарфоровые статуэтки, часы, плохие картины конца прошлого века и иконы в штампованных посеребренных окладах. Кушак представил себе, как Гриша провозжает домой пенсионерок и чьих-то наследниц.

Расставшись с Вольским, Кушак малодушно решил не подходить утром к телефону — с какой стати он должен отдавать Вольскому марки? Вечером он все равно уезжает в Ленинград.

Вольский оказался хитрее. Он пришел без звонка, в восемь часов разбудив Кушака.

— Я на минутку, перед работой, по дороге...

Он пришел с пустым потрепанным портфелем, долго говорил о том, как его ценят в министерстве, где он имеет отношение ко внедрению новой техники, говорил, что получил участок и собирается строить домик. За разговором залез в шкаф, потому что помнил, где должны лежать альбомы, положил трофеи в портфель, обещал, если что нужно в Москве, достать, прихватил на прощанье пастушку — любимую статуэтку покойной бабушки.

Он быстро передвигался по комнате, маленький и красивый, шутил, смеялся, махал ручками, дотрагивался до книг на полках и отодвигал их, чтобы посмотреть, не спрятаны ли другие, более ценные во втором ряду, называл Кушака Колей, Коленькой, Колюшечкой, а Кушак потом весь день злился на себя, потому что ему было жаль и марок, и фарфоровой пастушки, — стыдно было, что не отказал Вольскому.

Кушак, думая о Вольском, отламывал головки от ампул и сливал жидкость в контейнер распылителя. Потом поднялся и направился к стене замка. За последний час замок несколько раздался в боках. Стук изнутри раздавался реже и доносился слабее. За спиной Кушака собралась толпа. Там были и дачники, и спасатели, и сани-

тары, и пожарники в майках и брезентовых штанах, и милиционеры, и, конечно, химики. Грикуров не возражал. Он и себя ощущал зрителем.

Все ожидали чуда от высокого лысеющего мужчины с большим пистолетом в руке. Кушак знал, что чуда не будет. Его беспокоило, сохранил ли раствор вирулентность. Раньше никогда не приходилось сталкиваться с такими масштабами. Кушак пажал кнопк Мельчайшие капельки жидкости конусом устремились к стене. Кушак медленно шел вокруг замка, а толпа послушно двигалась за ним...

Вольский не пропал. Он дважды появлялся в Ленинграде и каждый раз разыскивал Кушака, привез ему в подарок ремешок для часов и растрепанную книжку по переплетному делу.

— Я помню, ты этим увлекался в шестом классе, — объяснил он. — Я стараюсь не забывать о друзьях. Пришлось много за нее отдать. Редкая вещь. Ну бери, бери.

— Я уже не увлекаюсь, — ответил Кушак. — И никогда не увлекался.

Но Вольский так и не согласился взять книгу обратно. Ремешок тоже пришлось оставить.

— Конечно, у тебя есть. Странно, если бы не было. Подаришь кому-нибудь. Мне из Тбилиси привезли. Три штуки.

Кушак понимал, что щедрые дары Вольского небескорыстны. За них придется расплачиваться. Так и случилось. Вольский оба раза уезжал в Москву, отягощенный трофеями, и с каждым разом его искренняя любовь к Кушаку крепла. Как-то Кушак дал ему решительный бой за часы-луковицу, купленные за бешеные деньги в комиссионном магазине, которые он все собирался починить, да времени не было. Он наотрез отказался расставаться с часами. Этот бой был битвой при Ватерлоо, и Кушак играл в ней грустную роль Наполеона.

В третий раз Кушак сказал Вольскому по телефону, что спешит на работу и увидеть его не сможет. Вольский расстроился и пришел в лабораторию. Каким-то образом ему удалось обойти вахтера, и он возник на пороге пустой лаборатории, как опостылевший черт, требующий расплаты за дружбу с печистой силой. Вольский еще больше раздался в талпи, но был по-прежнему оживлен, и Кушак с тревогой оглядел лабораторию, борясь с желанием запереть шкафы, чтобы гость чего не выцоганил.

— А почему пусто? — спросил Вольский. — Где народ?

— Библиотечный день, — сказал Кушак. — И в любом случае — людям надо выспаться. Мы три дня отсюда не вылезали.

На длинном столе, разделявшем лабораторию надвое, возвышались кубики и пирамидки розового цвета.

— А это что? Не секрет? — спросил Вольский.

— Это чтобы оставить тебя без работы, — сказал Кушак, отнимая у Вольского кубик, легкий и теплый на ощупь. — Придется тебе переучиваться.

— Я всегда учусь, Коленька, — сказал укоризненно Вольский. — Без этого в наши дни окажешься в хвосте событий. А при чем здесь строительство? Ты же какими-то беспозвоночными занимаешься.

Настроение у Кушака в тот день было отличное. Он даже с Вольским готов был поделиться радостью, понятной пока лишь ему и еще шести сотрудникам лаборатории.

— Это строительный материал будущего, — сказал Кушак. — Легок, как пемза, водонепроницаем, прочность выше, чем у бетона. — Вольский двигался вокруг стола, как кот вокруг слишком большого куска мяса, трогал суетливыми пальцами розовые кубики, поглаживал, несколько раскрывал рот, закрывал снова, и Кушаку казалось, что сейчас он скажет: «Дай мне».

Распылитель фыркнул и заглох. Раствор кончился.

— Все, — сказал Кушак. — Если ничего не случится, через полчаса ее можно распиливать. Больше расти не будет.

— Все? — спросил молодой человек и с упреком посмотрел на Грикурова.

Грикуров улыбнулся. Борьба с замком завершилась буднично.

Грикуров сказал:

— Тогда пойдем перекусим. Обед привезли. Расскажете нам.

Они прошли к палатке химиков. Там, на столе, освобожденном от приборов, стояла кастрюля с супом, окруженная разномастными, пожертвованными дачниками тарелками и ложками. Кушак понял, что проголодался. **Суп остыл, но** в жару это было даже приятно. Кто-то из химиков пожалел, что не привезли пива.

— Вольский, наверное, с голоду помпрает, — сказал Грикуров.

— Несчастный человек, — сказал химик.

— Как сказать, — ответил Кушак.

— Сознайтесь, — сказал Грикуров, — что у вас не сработало?

— Все сработало, даже слишком хорошо. Только я с нашего разрешения начну с самого начала.

— С самого начала вы поешьте, — сказал Грикуров.

— Одно другому не мешает. В общем, идея родилась от неудовлетворенности тем, как мы, люди, строим свой дом. Сначала добываем и заготавливаем материалы — цемент, лес, камни, потом все это надо свезти на площадку, сложить из этого дом и так далее... А почему бы не воспользоваться опытом наших соседей по планете? Мы им уже пользуемся. Тутовый шелкопряд прядет для нас шелковую нить, наша обувь — кожа животных...

Вертолет зажужжал в поле, раскручивая винт. Словно нехотя оторвался от земли и низко завис, борясь с земным притяжением. Потом сразу набрал высоту и скрылся за лесом.

— Сначала мы остановились на кораллах, — продолжал Кушак. — Коралловые рифы тянутся на тысячи километров. Миллионы поколений коралловых полипов, умирая, вкладывают свои скелеты в стену общего дома. Но кораллы живут в воде, строят рифы в течение тысячелетий и, кроме того, нуждаются в ограниченной пище, даже ускорить процесс размножения мадрепор, но с попытками извлечь их из воды мы потерпели неудачу. И успеха мы добились в конце концов не с кораллами, а с мутациями фораминифер, раковинных амев...

— Материал этот, — объяснил Кушак Вольскому, — если рассматривать под микроскопом, состоит из ракушек амев.

— У амев нет ракушек, — поправил его Вольский.

— Это раковинные амевы, близкие к фораминиферам.

— Так бы и говорил, — Вольский сказал это так, словно всю жизнь возился с фораминиферами.

— Из останков этих простейших, — сказал Кушак. — сложены известняки Крыма и Усть-Урта. Мы научили их жить в воздухе и размножаться с завидной быстротой. Вот этот кубик, который ты держишь в руке, вырос у нас

вчера за пятнадцать минут. Ты представляешь, что это значит?

— Представляю, — сказал Вольский.

Пока что он ничего не представлял. Он только хотел заполучить этот кубик.

— Скоро начнем полевые испытания, — сказал Кушак. — И, возможно, столкнемся с тобой на деловой почве.

— Разумеется, — сказал Вольский, — я окажу всяческое содействие.

— Мы представляем себе это так: делается металлическая опалубка, и в нее закладывается затравка амеб. — Кушак показал на полку, где выстроились рядами пробирки, заполненные розовым веществом. — Как только раковины амеб заполнят пространство внутри опалубки, их убивают, и дом готов. Конечно, это не так просто, как кажется на словах...

Вольский подошел к полке, снял одну из пробирок.

— А что они жрут?

— Это самое главное. Извлекают азот из воздуха. А материал для раковин берут из земли, одновременно строя фундамент дома.

— А дом в яму не ухнет?

— Нет, наш «раковин» — материал пористый, он как бы вытесняет почву и заполняет свободное пространство. А вес дома невелик.

— Теперь все ясно, — сказал Вольский. — Значит, так: ты даешь мне образцы материала, я еду в Москву. Это же докторская диссертация. И не одна. Тут и тебе, и твоим людям, и мне самому хватит. Правда, Колюша?

В глазах Вольского горели светлые огни подвижника, жертвующего всем ради дружбы. Судьба намеревалась отплатить ему сторицей за бескорыстие. Он все понял.

— И попрошу тебя, Коленька, пойми меня правильно, без моего сигнала в министерстве ни с кем не связываться. Я сам организую. Завтра же я на приеме у замминистра. Он меня лично знает. Какое счастье, что ты обратился за помощью именно ко мне!

Когда Кушак постарался как-то приглушить его энтузиазм, Вольский и слушать его не стал. Он совершал выгодный обмен. Он засовывал в портфель куски розового «раковина», и Кушак в очередной раз сдался. В конце концов внедрение займет много месяцев, а энергичный Вольский лучше многих сможет пробить ведомственные

барьеры. А куски «раковина» были мертвы и никакой опасности для окружающих не представляли.

Потом Вольский принялся выпрашивать пробирку с живой культурой. Но тут уж Кушак встал намертво. Полчаса они спорили, и в конце концов Вольский ушел ни с чем, а Кушак остался в лаборатории, оглушенный, но гордый тем, что впервые устоял перед натиском Гриши.

А когда на следующий день лаборантка сказала, что одной пробирки не хватает, Кушак не связал ее исчезновение с визитом Вольского. Он представлял себе, как Вольский обходит служебные кабинеты и выкладывает на столы розовые кубики. Он ждал звонка из Москвы. На третий день ему позвонили. И попросили немедленно вылететь. Но не в министерство, а в подмосковный дачный поселок. Там растет его «коралл». И ничего с ним не могут поделать. Стоит отрубить от него кусок, как это место зарастает вновь. Подкоп тоже не дал результатов. Но самое грустное — внутри «коралла» оказался человек. И извлечь его пока не могут...

— Он унес одну из пробирок, — сказал Кушак, поднимаясь из-за стола. — Добро бы притащил в министерство, а то решил извлечь из нее маленькую личную пользу — бесплатный домик.

— Я полагаю, — сказал задумчиво Грикуров, — что, если снять слой материала, там найдем самодельную опалубку. Он только недооценил возможностей ваших амёб.

Поджидая, пока бурльщики выпилят отверстие в стене замка, они уселись в жидкой тени яблонек. Косые лучи солнца прорезали розовую пыль.

— Он так спешил, — сказал Кушак, — убраться из лаборатории, пока я не обнаружил пропажу пробирки, что не захватил ампулу с бактериями, убивающими фораминифер. Его счастье, что колония имеет тенденцию развиваться по вертикали — они оставили ему жизненное пространство.

— Его будут судить, — сказал убежденно молодой человек.

— Судить надо меня, — возразил Кушак. — Я его избаловал. Ни разу не хватило духа послать его ко всем чертям.

— Вы не один такой, — сказал Грикуров.

— А с другой стороны, — сказал Кушак, — объек-

тивно он принес нам пользу. Поставил опыт в промышленном масштабе.

— Нет, — сказал молодой человек. — Его надо судить. Или заставить возместить ущерб. — Молодой человек показал на дачников, стаскивающих матрасы и посуду обратно в домики.

— Здесь он! — закричал бригадир бурильщиков. — Живой!

— Пошли, — сказал Кушак, поднимаясь. Он не сомневался, что Гриша выберется. — Года через два мы будем жить в домах, построенных по «методу Вольского».

— Тогда я напишу в газету, — сказал Грикуров. — Это будет фельетон века.

Вольского извлекли из отверстия. Он обессилел, ноги его не держали. Он увидел Кушака, но взгляд его тут же ушел в сторону.

— Воды, — прошептал он.

Шепот показался Кушаку несколько театральным. Хотя, может, он несправедлив к Вольскому. Тому пришлось немало перенести: несколько часов в розовой душевой камере...

Напившись, Вольский разрешил санитарам отнести себя к «скорой помощи». Его пронесли совсем рядом с Кушаком.

— Как же ты мог, Коленька? — сказал Вольский тихо.

— Что? — удивился Кушак.

— Зачем же ты непроверенный материал пустил в производство? — продолжал Вольский. — Я же чуть не погиб на испытаниях.

— Ты все продумал, пока сидел так? — спросил Кушак.

— Да, Колюша, — сказал Вольский. — Я многое продумал.

Носилки скользнули внутрь машины. Оттуда глухо донеслось:

— И все-таки у нашего материала большое будущее.

«Скорая помощь», взревев, умчала Вольского. Розовая пыль медленно оседала. Трехэтажная бочка возвышалась над дачным поселком, обещая стать долговечной достопримечательностью этих мест. Химики сворачивали палатку. Пожарники напяливали брезентовые робы, разбирали каски и занимали места в красной машине.

ШУМ ЗА СТЕНОЙ

Елизавета Ивановна отлично помнила темный длинный коридор на послевоенном Арбате, над зоомагазином, комнату, в которой умещались она сама, Наташа, Володя и мама, запахи шумной коммунальной кухни, выползающие в коридор, утренний кашель соседа, причитания соседки Тани и хриплый рокот бачка в уборной. Тогда собственная кухня казалась недостижимым символом житейской независимости.

Квартира на Арбате давно уж провалилась в воспоминании, после нее были другие, отдельные, но почему-то в последние месяцы Елизавете Ивановне снилась именно та, арбатская гулкая кухня. Может быть, потому, что впервые в жизни Елизавета Ивановна осталась одна, если не считать пятилетней Сашеньки — внучки. Наташа, оставив Сашеньку, уехала на полгода к мужу.

Нет, не по кухне тосковала Елизавета Ивановна — просто в такой форме ютилась в ней грусть по соседскому общению, по людям.

Обычно в новых домах быстро создаются отношения некоторой близости (у вас соли щетки не найдется?), ограниченные лестничной площадкой. Две двери по одну сторону лифта, две — по другую. Но как назло: на той стороне одна квартира так и не занята, наверное, держали в резерве, а во второй жила странная молодая чета. Эти молодожены вечно куда-то спешили, не ходили, а мелькали, не говорили, а кидались междометиями — то в кино бегут, то в туристский поход на байдарках. Другой сосед был фигурой гаинственной. Он как тихо крался к своей двери, что Елизавета Ивановна не была уверена, всегда ли он здесь живет или только изредка заходит. Хотя, вернее всего он скрывался дома: если зайти в ванную, то слышно, как за стенкой, у соседа, раздается шум. Иногда похоже на завывание ветра, иногда словно водопад, иногда как будто море накатывается на берег, а чаще похоже на станок. Возможно, сосед был кустарем, хотя доброй Елизавете Ивановне хотелось, чтобы он был изобретателем.

Вечером раздался звонок в дверь. Елизавета Ивановна опростелась бросилась к двери, ложку уронила, чуть не разбудила Сашеньку. Ей показалось, что это приехал Володя, соскучился по матери. Может же так случиться?

Оказалось, сосед. В халате, сандалии на босу ногу.

— Ах, — сказал он, уловив на живом лице Елизаветы Ивановны разочарование. — Не обессудьте. Здравствуйте. И еще раз простите за беспокойство. У вас электрического фонарика не найдется?

Лицо у него было загорелое, почти молодое, улыбчивое. Но когда улыбка сходила — как сейчас, — становилось оно полосатым, как у дикого индейца. Получалось так оттого, что морщины на нем, спрятанные при улыбке, расходились, и там, внутри, оказывалась белая кожа. Это значит, что сосед часто улыбался.

— У меня нет фонаря.

— Нет фонаря, — сосед улыбнулся шире прежнего. — Как же так, нет фонаря? А я вот свой посеял. Ну уж вы меня извините...

Вроде бы ему надо уйти, а он медлил, топтался в дверях, словно ждал, что его пригласят. А Елизавета Ивановна так была разочарована, что это не Володя, а сосед, что и не пригласила заходить.

Сосед ушел. Елизавета Ивановна вернулась в комнату. Сашенька спала. Неладно получилось — сама хотела дружить с соседями, а когда один пришел, почти прогнала.

На следующий день, когда вела Сашеньку из детского сада, Елизавета Ивановна встретила соседа у подъезда. Тот спешил домой с удочками через плечо.

— С рыбалки? — спросила весело Елизавета Ивановна.

Сосед как-то не сразу сообразил, что к чему. Поглядел на удочки, пожал плечами, а Елизавета Ивановна уже поняла, что сморозила глупость — кто же ходит на рыбалку без ведра или бидона, чтобы складывать пойманную рыбу?

— Нет, — сказал сосед, — вы уж простите, я на рыбалку попозже пойду.

Они задержались в подъезде, пропуская друг дружку вперед. Потом Сашенька обогнала взрослых, побежала к двери. «Ну иди же, бабушка!»

— Это ваша? — спросил сосед.

— Внучка, — сказала Елизавета Ивановна. — Ей уже шестой год.

— Никогда бы не подумал, что у вас внучка. Вы так хорошо сохранились. Удивительно просто, да, удивительно...

— А вы заходите к нам как-нибудь, — сказала неожиданно для себя самой Елизавета Ивановна. — Чаю попьем...

— Ну что вы, как можно, — не то обрадовался, не то огорчился сосед. — Я же человек занятой, но спасибо.

Так Елизавета Ивановна и не поняла, ждать гостя или нет.

На следующий день сосед позвонил часов в восемь вечера. В руке раскачивался пластиковый пакет, в котором вздрагивала сильная серебристая, еще живая рыбина.

— Порыбачили? — обрадовалась соседу Елизавета Ивановна. — Ах, какую большую поймали.

— Это вам, — сказал сосед. — Я вот наловил и принес.

— Ну что вы! — смутилась Елизавета Ивановна. — Ну зачем так? Нам же ничего не нужно. Рыба денег стоит.

Сосед тянул к ней руку с пакетом, пакет раскачивался, и как дальше вести себя — было неясно.

— Нет, вы не подумайте, — совсем смутился сосед. — Я, если желаете, с вас деньги возьму, как в государственном магазине.

— Ну конечно, — Елизавета Ивановна поняла, что виновата, обидела человека — ну что стоило принять подарок соседа, человек хотел приятное сделать, а она в фонарике отказала, а теперь вот вынудила человека торговать подарками... Думая так, Елизавета Ивановна не могла уже отступить от содеянного и спросила вслух: — А сколько она весит?

И думала лихорадочно: ну куда же я кошелек положила? Где же этот проклятый кошелек? А там деньги есть? Получка только завтра...

— Не беспокойтесь, — засмеялся сосед, опомнился, — вы потом взвесите. И меня информируете.

Так, смеясь, он прошел на кухню, положил рыбину в таз, приготовленный для стирки, поглядел на часы и откланялся.

— Дела, — сказал он. — Дела меня ждут.

Вечером, позже, Елизавета Ивановна стирала в ванной, а за стеной шумел сосед — видно, работал. Ууух-пататам, уу-ух пататам. Она пошла спать, а он все трудился.

Назавтра Елизавета Ивановна приготовила рыбу, ку-

пила бутылку вина и тортик «Сказка». Потом, уложив Сашеньку, набралась смелости, сама позвонила в дверь соседу.

Сосед долго не открывал, она уж решила, что его нет дома, потом отворил на ладонь, проверил, она ли, после этого скинул цепочку.

— Чего? — спросил он чужим голосом.

— Я, простите, вашу рыбу поджарила, думала, может вы зайдете... Но, видно, не вовремя.

— Приду. — сосед захлопнул дверь.

И в самом деле пришел через полчаса. Волосы причесаны, смоченные водой, вплотную к черепу, приличный и вежливый. Денег за рыбу не взял, отмахнулся, хоть Елизавета Ивановна на всякий случай подсчитала и положила на буфет в конверте. Сказал:

— Считайте, что отплатили мне приготовлением пищи.

Выражался он, как заметила Елизавета Ивановна, скучно, что бывает у пожилых людей, много имевших дело с казенными бумагами.

— Я, прошу прощения, не успел представиться, — сказал он, проходя в комнату. — Николин, Петр Петрович. О вас все знаю, в домоуправлении спросил, еще при переезде. Полезно знать кое-что о биографии соседей по этажу. А вдруг какой бандит или хулиган попадется, правильно? А у вас здесь чисто, красиво.

Собирая на стол, Елизавета Ивановна рассказывала Николле о своей жизни, тот слушал внимательно, гулял по комнате, разглядывал книги и вещи, а когда Елизавета Ивановна вышла на кухню, замер на месте, ожидая ее возвращения, — проявлял деликатность.

— А я вот вам крайне признателен, — сказал он, снимая с полки какую-то книгу. — Будучи человеком одиноким, я вынужден питаться в предприятиях общественного питания или готовить себе дома, к чему я плохо приучен. У вас научная литература, я погляжу.

— Это не мои книги, зятя библиотека.

— Надо читать, следить за новинками. В моей трудной жизни я был лишен возможности достойного образования, но я сейчас на досуге читаю журналы, слежу. Без образования в наши дни ты чувствуешь себя бессильным перед силами природы.

— Правильно, — отозвалась Елизавета Ивановна, ставя на стол рыбу, — меня иногда просто ужас берет перед всем этими бомбами и ракетами. Мои-то в Алжире. Далеко.

— Если что случится, — сказал Николин серьезно, — то вы и не узнаете — война будущего дело минутное. Если некуда скрыться.

— Может, вы бутылку откроете? — спросила Елизавета Ивановна, чтобы перевести разговор на другое.

— С другой стороны, — продолжал Николин, открывая бутылку и разливая портвейн по рюмочкам, — для человечества в целом куда серьезней проблемы мироздания. И я беру именно на таком уровне. Вы позволите мне иногда пользоваться вашей библиотекой?

Ушел он поздно, довольный, на прощание обещал позвать к себе.

— Как кончу одну работу, — сказал он, — обязательно позову.

Елизавета Ивановна думала, что он тут же заснет — все-таки почти в одиночестве выпил целую бутылку портвейна, но Николин сразу принялся за работу — пока Елизавета Ивановна мыла посуду, она слышала, как шумит сосед за стеной, — уу-х та-та-там, уу-ух та-тата...

С тех пор Николин зачастил к Елизавете Ивановне. То за солью забежит, то телевизор посмотреть — своего у него не было, то пуговицу пришить попросит. А Елизавета Ивановна была рада. Да и сам он всегда был готов оказать услугу. Раз как-то заходил в садик за Сашенькой, когда у Елизаветы Ивановны было профсоюзное собрание, иногда помогал по хозяйству — прибил полку на кухне, заклеил окна. И все это он делал с улыбкой, легко, разговорчиво. А больше всего он смеялся, если приезжал с рыбалки, приносил в подарок рыбу.

— Ну что, — спрашивал он. — Лиза, будешь мне платить как в государственном магазине?

Знала теперь Елизавета Ивановна о жизненном пути соседа — учился, служил, овдовел, одинок. Были у него увлечения — рыбалка, мечта купить машину и поехать на ней на юг. Была и какая-то тайна, связанная с этим постоянным шумом за стеной, но об этой тайне Петр Петрович молчал. А Елизавета Ивановна, разумеется, и не интересовалась: захочет — сам расскажет.

Книжки, которые брал Николин, он всегда возвращал вовремя, но был имп недоволен.

— Нет, не то, — повторял он, — не то. Некоторые важные проблемы они просто обходят, так сказать, игнорируют.

И может быть, такая мирная соседская жизнь текла бы еще долго, если бы не случай.

Как-то Елизавета Ивановна была в главке, ездила вместо курьера за бумагами. А там рядом рынок. И она решила купить зелени. Она не спеша шла по рынку и натолкнулась на соседа, который с утра уехал на рыбалку. Перед ним грудой лежали рыбины и еще бумажка: «1 кг — 2 руб.».

Елизавета Ивановна так смутилась, что готова была сквозь землю провалиться. Не потому, что торговля на рынке казалась ей постыдной, — ничего такого постыдного в торговле нет. У нее у самой двоюродная сестра продавала на рынке цветы и соленые грибы. Только не положено это было делать Петру Петровичу, солидному человеку, пенсионеру. И ясное дело — он сам это понимал. Иначе бы давно сказал об этом соседке.

Елизавета Ивановна быстро повернулась и поспешила с рынка, надеясь, что Николин ее не увидел.

Но Николин все-таки ее заметил. Вечером заявился:

— В смысле, — сказал он, — значит, так...

Сашенька капризничала, не хотела раздеваться, да и что разговаривать — каждый живет, как хочет.

Николин мялся в дверях, то улыбался, то хмурился.

— Вы не думайте, вам я всегда принесу бесплатно.

— Ах, — сказала Елизавета Ивановна, помогая Сашеньке снять колготки, — зачем вы об этом...

— Я, поймите, ценю вашу деликатность, вы же меня на рынке видели за занятием, которое, с вашей точки зрения, унижает человеческую гордость, но, с другой стороны, плоды моего честного труда могут иметь реализацию законным путем, не так ли?

— Да не видела я вас на рынке! — воскликнула Елизавета Ивановна, полностью выдавая себя. После таких слов ясно было, видела.

— Нет, не отпирайтесь, — говорил Петр Петрович. — Зачем же эта излишняя скромность? Я же за вами давно наблюдаю и понимаю, как вы скромны и благородны.

— Ну что вы!

— Более того, я давно хотел вам открыться, потому что человеку надо найти родственную ему и доверчивую душу. Думаете, легко мне существовать в таком моральном одиночестве?

Николин был взволнован. Елизавета Ивановна его пожалела, велела пройти в большую комнату и подождать, пока она кончит возиться с Сашенькой. Сашенька долго не засыпала, пришлось читать ей сказку, а Николин ма-

ялся, ходил за стеной, вздыхал, шуршал страницами в книгах.

Когда Елизавета Ивановна возвратилась к нему, он был на грани нервного взрыва.

— Все! — бросился он к ней. — Я решил. Я сейчас же вам все открою. Именно вам, понимаете? Мне же легче будет, устал я таиться, вы меня понимаете? — потащил ее к дверям.

— Что вы? Куда?

— Ко мне! Я же приглашал, вы помните, что приглашал?

— Но не сейчас же, десятый час.

— Именно сейчас. Может, завтра я расскаюсь.

— Но как-то неудобно, к одинокому мужчине... (Что я говорю, что я говорю, старая дура!)

Он все-таки выволок Елизавету Ивановну в коридорчик перед квартирами, не выпуская ее руки. Другой рукой, изгибаясь, как собака в чесотке, начал шарить по карманам, разыскивая ключи. И тут Елизавета Ивановна даже засмеялась и сказала:

— Отпустите меня, не убегу, подожду.

— Спасибо, — он с облегчением отпустил ее руку, сразу нашел ключи и открыл дверь — три замка по очереди.

— Добро пожаловать. Ну заходите же, дверь закрыть надо.

— Как бы Сашенька не проснулась.

— Я вас долго не задержу. Поглядите и обратно.

Он пошел первым к двери в комнату, из-за которой доносился шум, столь давно знакомый Елизавете Ивановне, распахнул дверь, и шум сразу усилился, и оттуда, из-за двери, пахнуло свежим теплым воздухом, влагой и запахом морской соли. Свет в двери был не электрический, а закатный, словно там, в комнате, садилось солнце.

И вдруг Елизавета Ивановна оробела.

— Нет, — сказала она, — в следующий раз.

— А ну! — Полуобняв соседку за плечи, Николин сильно подтолкнул ее к двери, и она вынуждена была подчиниться и переступить через порог.

Никакой комнаты за дверью не было. Был берег моря, опускающийся полого навстречу мягким волнам прибоя, было закатное алое небо и солнце, окруженное фиолетовыми с оранжевыми краями облаками, были какие-то высокие деревья вдали, где берег изгибался дугой и полоса песка вдоль воды казалась почти белой. Добегая до песка,

волны мягко тормозили, склоняя вперед зеленоватые головы. Среди кустов и некрупных пальм были воткнуты в землю палки, на которых была развешена небольшая сеть, стояли два ведра и самые обыкновенные высокие резиновые сапоги.

— Иди! — звал Петр Петрович. — Иди, Луза! Попробуй, какая вода теплая. Здесь постоянный бархатный сезон. На Кавказ ездить не надо!

— Что же это творится? — сказала тихо Елизавета Ивановна. — Что за фокус?

— Я же говорю — обещал удивить, значит, удивлю. Никакой не фокус. Самое настоящее море в физическом выражении. Ты воду попробуй.

И видя, что Елизавета Ивановна не двигается, Николай сам легко сбежал к воде, зачерпнул в ладони, подпрыгнул, чтобы не замочить ботинки, и поспешил наверх, к госте. Вода тонкими струйками лилась сквозь пальцы и пропадала в песке.

— Гляди!

На ладонях осталось немного воды.

— Соленая, — сказал Петр Петрович. — Умеренно соленая. Как в Черном море.

Петр Петрович был оживлен больше обычного, он был похож на мальчишку, который зазвал гостей и теперь хвастает перед ними своими мальчишескими сокровищами.

— Ты не представляешь, — он уже вновь бежал к берегу, — сколько любопытных предметов, так сказать даров, море выкидывает после непогоды. Я сейчас покажу.

Он делал круги по песку, пока не отыскал, чего хотел. И вот он уже возвращается, подпрыгивая, увязая в песке, несет на ладонях красивую светлую, свернутую в трубочку, как пирожное, раковину.

Елизавете Ивановне послышался сквозь шум моря плач. Сашенька проснулась!

— Мне надо идти, — сказала она. — Мне надо.

— Ну как же? Разве тебе здесь не нравится?

— Надо. Там Сашенька плачет.

Сразу с соседа слетела радость. Он покорился, проводил ее к отдельно стоящей на берегу двери и сказал скучным голосом:

— А вот здесь мои принадлежности. Я рыбу отсюда — с моря приношу, а?

И это «а» повисло в воздухе. Елизавета Ивановна уже была в прихожей, и Николай затворил дверь к морю, чтобы случайно кто не увидел с лестницы.

Елизавета Ивановна вбежала в квартиру, но там было совсем тихо. Сашенька спала. Елизавета Ивановна поправила ей одеяло и остановилась в нерешительности. Куда теперь идти? Она перешла в большую комнату и там обнаружила Николина. Оказывается, он без спроса проследовал за ней. Елизавета Ивановна понимала, что человек взволнован, и потому ничем не выказала недовольства.

— Это птица была, — сказал Николин тихо. — Там, на море. Там есть одна птичка, поет, как будто плачет ребенок. Я тебе обязательно покажу. А я было подумал, что ты не к Сашеньке побежала.

— А куда? — удивилась Елизавета Ивановна.

— Куда? Разные люди бывают...

Елизавета Ивановна не поняла, что он имеет в виду, но расспрашивать не стала.

— Пошли снова? — спросил Николин. — Там закат у нас красивый.

— Нет, мне постирать надо.

— Ну какая может быть стирка, я же на море зову.

— Ну, в следующий раз, завтра, — пообещала Елизавета Ивановна.

Она закрыла дверь за соседом и только хотела пакинуть цепочку, как раздался осторожный звонок.

— Это снова я, — сказал Николин громким шепотом, — я только одну просьбу хотел высказать.

— Ну что?

— Я тебя прошу, надеюсь, сама понимаешь, чтобы ни одна живая душа. Понимаешь? Начнутся разговоры, а я человек пожилой, одинокий. Значит, договорились?

— Договорились.

— Обещаешь? Слово даешь?

— Даю-даю. Ну ладно, спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Только учти, что слово дала.

На следующий день, в субботу, Николин затащил-таки Елизавету Ивановну на свое море. Дело было утром, спешить некуда. На берегу было довольно жарко, пришлось даже отойти повыше, в тень. Море выпускало из себя яркие искры и вдали, в мареве, сливалось с небом. Елизавета Ивановна думала, какая гадкая стоит на дворе погода, а воспитательница в Сашенькиной группе, Галочка, молодая и рассеянная. Как бы не забыла шарф девочке надеть, когда пойдут гулять.

Петр Петрович был похож на отдыхающего — рубашка-сеточка, брюки засучены до колен, в сандалетах, на

голове треуголка, сложенная из газеты. Лицо в тени было совсем черным, только белки глаз голубые.

Из большого ведра, стоявшего рядом, Петр Петрович вытащил, поболтав рукой в компоте мелкой рыбешки — на уху, зеленую черепашку. Черепашка спрятала голову под панцирь, но ножки вяло болтались, искали опору.

— Полагаю, — сказал Николин, — что Сашеньке такой подарок представит интерес. А то приходилось выкидывать некоторые редкие вещи — черепах, крабов или странных рыб. Зачем мне лишние вопросы — где достал черепаху, где краба нашел и так далее?

Он кинул черепашку обратно в ведро. Черепашка поплыла по кругу, расталкивая рыб, чтобы уйти поглубже.

Петр Петрович поднялся, разглядывая белое пятно на песке у воды.

— Дар моря, — сказал он. — Надо проверить. Чего только волны не выкидывают, просто любопытства не хватает.

Елизавете Ивановне было мирно, тепло, давно не отдыхала в таком сказочном месте. Только при этом не могла отделаться от чувства, что все-таки это — кино, не настоящее. И от этого тянуло сходить на улицу, посмотреть, не пошел ли там дождь.

Вернувшись, Николин бросил на траву обкатанный морем обломок большой кости.

— Возможно, от кита, — сказал он. — Крупные животные должны скрываться в глубоких местах.

— А другие люди сюда заходят? — спросила Елизавета Ивановна.

— Других людей нет. Местность, полагаю, совершенно ненаселенная.

— Странно, — сказала Елизавета Ивановна. — Обычно на Черном море не протолкнешься. На каждом квадратном метре по отдыхающему. Мы в прошлом году были с Сашенькой в Евпатории...

— Так это ж не Черное море, — сказал Петр Петрович. — Ничего общего.

— Я понимаю, — сказала без убежденности Елизавета Ивановна. — Здесь растительность другая.

И замолчала, ждала, что Николин что-нибудь объяснит. Если у человека море в квартире, то он-то уж должен знать, откуда оно взялось.

— Это вовсе не Черное море, — сказал сосед. — Понимать надо.

Далеко-далеко пролетела птица, видно было, как она снижается к волнам и снова взмывает вверх.

— Мои конкуренты, — сказал Петр Петрович. — Иногда улов на берегу оставить опасно. Налетят чайки и все растащат. Ну прямо бы стрелял их. Самим лень вылавливать, меня эксплуатируют.

— Все-таки не понимаю я с морем, — сказала Елизавета Ивановна, не дождавшись объяснения. — Каксй это район?

— Эх, Лиза, — вздохнул Николин. — Если бы все так просто, у каждого бы море в квартире было. Каждому хочется. Я сначала подумал, что имею дело с Индийским или даже Тихим океаном.

— Быть не может!

— Но моя наблюдательность заставила меня пересмотреть свою первую теорию. Не океан это, а неизвестный водный бассейн.

— Так я думала, что все моря уже открыты, — сказала Елизавета Ивановна и мысленно укорила себя за глупость; ясно, что открыты.

— И даже не на Земле это море, — сказал Николин и сделал долгую паузу, глядя на соседку искоса.

— Как же так? — сказала Елизавета Ивановна. Надо же было что-то сказать.

— А ты наверх посмотри. И сразу все сомнения пропадут.

Елизавета Ивановна послушно поглядела наверх, куда показал Николин. Там, в дополнение к обычному солнцу, что светило слева, было еще одно солнце, поменьше размером, оно ясно проглядывало сквозь листву.

— Вот так-то, — сказал Петр Петрович. — И это дает моему явлению научное объяснение. Я по этому вопросу осторожно с одним учителем разговаривал, популярную литературу просматривал. Есть, понимаешь, одна теория про параллельные миры. Не слыхала? Вот и я раньше не слыхал. А теперь увидал. В общем, будто Земля не одна, их несколько, и они между собой могут касаться. Теперь понятно?

— Так как же? — спросила спокойно Елизавета Иванова. — Они бы коснулись, и выплеснулось бы ваше море в наше.

— Парадоксы, парадоксы, — сказал Петр Петрович, разводя руками. — Но не в этом дело. Море есть, и это самый реальный факт. Награда мне за мой долгий жиз-

ненный путь. И купаться можно. У тебя, Лиза, купальник есть? В следующий раз приноси, купаться будем.

Странно, подумала Елизавета Ивановна, обыкновенный человек, на улице и не поглядишь, и вот, собственное море. И никто не заметил, как эти миры соприкасались. Конечно, если бы кто-нибудь из ученых поглядел, наверное бы, объяенил.

— Можно прожить всю жизнь без счастья, так сказать, не вкусить. Но некоторым людям выпадает по лотерее. И если много выпадет, хуже. Каждый знает, как истратить сотню, а что делать с десятую тысячами? Так и с ума сойти можно! Я лично за то, чтобы положить все в сберкассу и получать проценты.

— Я в садик пойду, — сказала Елизавета Ивановна. — Лучше пораньше заберу Сашеньку. А то погода плохая.

— Я бы, — сказал Петр Петрович, провожая соседку до двери, — с удовольствием пригласил бы сюда и Сашеньку. Девочка она хорошая, послушная. Но сама понимаешь, начнет она рассказывать иным детям, а те своим родителям — начнутся сплетни, пересуды, зачем ему море, еще жаловаться начнут. Ты уж меня прости...

Петр Петрович был человеком, в общем, незлым. Проблема с Сашенькой его, видно, задела. Иначе с чего бы он, придя в тот же день попозже, завел снова разговор об этом?

— Человек я одинокий, — сказал он, присаживаясь за стол в ожидании чая. — И единственная у меня радость — море. Какое-никакое, но свое.

— Хорошее море, — сказала Елизавета Ивановна.

— И, должен тебе сказать, Лиза, что за последние годы ты оказалась тем человеком, к которому я почувствовал искреннее расположение. Нет, не качай головой, ты человек хороший, отзывчивый и, главное, сдержанный. Мне же тоже нелегко — распирает от желания поделиться с кем-то событиями моей жизни. Ведь хожу я на берег, ловлю рыбу, люблюсь закатом, привык даже. Но разве можно Робинзону жить без Пятницы? Нельзя.

— Ну почему со мной делиться? Мало ли кто...

— Нет, не понимаешь. Потом поймешь. У меня же планы **есть**. И не маленькие. **Вот ты**, например, человек не очень обеспеченный. Не возражай. А мы с тобой можем неплохие деньги зарабатывать, пользуясь дарами океана. Не отмахивайся, Лиза, от своего счастья. Ничего незаконного в моем море нету. Я за него квартплату плачу.

Оно где? У меня в квартире, внутри. В твоей его нету, у соседей сверху нету, сам проверял. Да, я о чем поговорить хотел — о Сашеньке. С твоей точки зрения, нехорошо получается — ребенок остается без свежего воздуха. Я подумал, может, мне ей глазки завязать, а?

Елизавета Ивановна обиделась. Вроде бы человек от чистого сердца предлагал добро ребенку, но как же ты будешь завязывать глаза девочке, которая еще в школу не пошла? Как бандиты какие-то... Но вслух она ничего не сказала, а из-за этого ощутила неприязнь к себе самой, словно предала Сашеньку. И сосед почувствовал, как у Елизаветы Ивановны изменилось настроение, смешался, стал нести какую-то чепуху про физику и параллельные миры. Потом ушел, даже вторую чашку чая пить не стал. Вечер был испорчен.

Елизавета Ивановна мыла посуду, но что-то ее грызло, чего-то надо было сделать. Потом поняла. Заглянула в ванную и послушала. Море шумело, ровно и мерно. Уу-х — разбивается волна о песок, ползет обратно. Там, наверно, яркие звезды, как в Крыму. Заглянуть бы туда, хоть на минутку.

Елизавета Ивановна захлопнула дверь в ванную, вернулась на кухню и пустила струю в раковине на полную силу, чтобы не было слышно морского прибоя.

Рано утром, в воскресенье, Сашенька еще спала, Елизавета Ивановна не успела поставить кашу на плиту, как снова звонок. Ну конечно, он. Она даже улыбнулась:

— Вы бы, Петр Петрович, проделали дырку в стенке, чтобы на лестницу не выходить.

— Не смейся, — сказал Петр Петрович. — Я не заслужил такого отношения. Прости за вчерашнее.

— Ну что вы так стоите? Заходите.

— Спасибо, спешу. На рынок иду, улов надо реализовать. Ты меня не осуждаешь?

— Бог с вами, — сказала Елизавета Ивановна. — Ваше море.

— Вот и хорошо. Я что подумал — соседи мы все-таки. Не чужие. Вот ключи. Это верхний, а это средний. На нижний я не зашпрал. Заходи, отдохай, пока я не вернулся.

— Ну что вы!

— Да, — сказал он быстро, всовывая в руку ключи, — ты и внучку взять можешь. Пускай на песочке поиграет. Ничего песочку не сделается... А если она кому расскажет, то ведь не поверят? Правда?

— Не надо мне ключей...

Ключи звякнули, упали на пол, а Николин уже спешил наружу, не оглядываясь, знал, что такая женщина, как Елизавета Ивановна, не оставит на полу ключи от чужой квартиры.

А когда она подобрала ключи и вернулась к плите, то в голове у нее сложились слова, которые надо бы сказать Николину, объяснить все, если он не так понимает. Слова получались значительные, неглупые, но не победишь догонять...

После завтрака Елизавета Ивановна пошла с Сашенькой гулять на двор. Осенняя холодная погода все грозила дождем, но пока что терпимо, если не считать ветра.

Посреди двора, за полосой мелких, робких еще саженцев, у песчаной горки, стояли мамы и бабушки, прогуливали детей. Порой кто-нибудь взглядывал на небо, потому что знали — дождь все-таки пойдет, не может не пойти. Ругали погоду. Ругали домоуправа, который обещал сделать качели, да все не делает. Еще кого-то ругали.

Потом, как бы по контрасту с погодой, кто-то заговорил о том, что в этом году была хорошая погода на Рижском взморье, а другая женщина сказала, как жарко было в Сухуми.

Елизавета Ивановна смотрела на Сашеньку, которая стояла в сторонке от других детей, тыча лопаткой во влажный песок.

— Тебе не холодно? — спросила она.

— Нет.

— Может, домой пойдем?

— Нет.

Ребенок был грустный, под стать погоде. Холодный ветер рвал последние листья с саженцев и раскидывал по ржавой траве.

— Пойдем, — сказала Елизавета Ивановна внучке.

— Я не хочу домой.

— Я не домой тебя зову. Мы в гости пойдем.

— Уже уходите? — спросила женщина, которая рассказывала про Сухуми. — Мы тоже скоро пойдем. Так недалеко и до бронхита.

Елизавета Ивановна оставила Сашеньку на лестнице, взяла ключи Николина.

— Это чужая квартира, — сказала Сашенька серьезно, глядя, как бабушка возится с замками. — Нас не звали.

— Дали ключи, значит, звали.

Дверь наконец открылась. Свежий теплый морской воздух ударил в лицо.

— Заходи, — сказала Елизавета Ивановна. — Только ноги вытри, а то дядя будет ругаться.

Она затворила дверь и сняла с девочки пальтишко.

— Ты не пугайся, — сказала она, осторожно открывая дверь в комнату. — И никому не рассказывай...

— А что? — Но тут Сашенька увидела море, очень обрадовалась и совсем не удивилась. Она пробежала несколько шагов к воде, оглянулась на бабушку и спросила: — А туфли снять можно? А то песок в них попадет.

— Разувайся, — сказала Елизавета Ивановна.

Над морем шли легкие пышные облака, белые чайки ссорились над сетью, развешенной на кольях, в которой запутались рыбешки, оставленные Николиным.

— Ты далеко не бегай, — сказала Елизавета Ивановна внучке.

— Я только попробую море и обратно, — сказала она.

Песок у самой воды был упругий, прибитый волнами, и идти по нему было легко и удобно. Но далеко Елизавета Ивановна не отходила, все оглядывалась на дверь, сиротливо стоящую посреди пляжа.

Сашенька нашла ракушку и подула в нее. Потом побежала за черепашкой. Она порозовела, глаза блестели, а Елизавета Ивановна подумала, что надо ей купить панамку.

— А там холодно и дождь пойдет, — радостно сообщила ей Сашенька. Она показала на дверь. «Странно», — подумала Елизавета Ивановна и сообразила, что она сама забыла раздеться, так и идет в пальто по морскому берегу. Осенняя влага паром отходила с рукавов ее пальто.

— Пошли обратно, — сказала она вдруг Сашеньке.

— Я не хочу.

— Мы вернемся. Только сходим в ту комнату и вернемся.

Она схватила Сашеньку за руку и потащила наверх, к двери.

В прихожей она посадила девочку на стул, дверь к морю затворила и сказала Сашеньке строго:

— Жди меня здесь. Я сейчас.

— Только недолго, — сказала внучка. — А то мне скучно. Я к морю хочу.

Елизавета Ивановна выбежала из подъезда. Уже начался дождик, и матери с бабушками разводили детей по домам.

— Погодите! — крикнула она...

Когда через два часа домой вернулся Петр Петрович, он сразу прошел к комнате. Сверху, от двери, он увидел, как полдюжины детей носятся по самой кромке воды, в одних трусиках, а женщины сидят чуть повыше, устроившись в тени пальмы, и беседуют о чем-то женском и пустом.

— Это что еще? — крикнул он и, размахивая пустым ведром, бросился бежать вниз по склону. И натолкнулся на несмелую улыбку Елизаветы Ивановны. Она шла ему навстречу.

— Вы уж извините, Петр Петрович, — сказала она, краснея от смущения и робости. — Только на улице дождик и погода плохая. Так уж получилось...

— Как же так? — сказал Николин. — Я же доверился...

Он махнул рукой и почему-то пошел к развешенным сетям, отогнал чаек и стал сматывать свои снасти, стараясь не глядеть вниз и не слышать гомона ребятнишек.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА

Я разучился ездить в поездах, вернее, разучился спать в купе, высыпаться, как дома. Необходимость забираться в клетушку, где уже спят случайные попутчики, с которыми обменялся дежурными любезностями, забрасывая наверх чемодан, связана с духотой, еще влажными после стирки казенными простынями и пробуждением на остановках, где в окно заглянет слишком яркий станционный фонарь и резко загудит маневровый паровоз.

Я оттягивал момент, когда все-таки придется уйти в купе, и курил в коридоре, опустив окно и борясь с занавеской, которая вздувалась парусом и норовила упереться в лицо.

Кроме меня, в вагоне не спали еще двое. Добрый, гладко облысевший флегматичный толстяк в голубой рубашке, подобранной выше локтей резиновыми колечками. Он появился в поезде недавно, на небольшой станции, названия которой я не запомнил, но успел переобуться в разношенные домашние туфли без задников. Собеседник его тоже был лыс, но лысина у него была аккуратной, словно тонзура католического монаха, и сам он был аккуратным, от тщательно начищенных ботинок до белого воротничка. Оба носили очки. Толстяку они были малы, и казалось, что в них умещаются лишь зрачки, обрамленные тонкой черной рамкой. Очки второго человека были велики, и в них было много металлических частей, которые придавали им сходство с автомобилем высокого класса.

Их разговор я застал в середине, но это не имело значения, потому что разговор был ни к чему не обязывающим и мирно кочующим с темы на тему.

— Нет, у нас небо чистое, промышленности мало, — говорил толстяк, перебирая короткими пальцами по подтяжкам, будто играл на арфе.

— Но южное небо производит особое впечатление.

— Признаю, южное небо кажется черным, и звезд на нем больше. Но приезжайте отдохнуть к нам, выберем безлунную ночь, и тогда посмотрите на миры, плывущие в бесконечном космосе.

Они глядели в синее чистое небо над черным забором подступавших к путям елей.

— Я предпочитаю проводить отпуск на юге, — сказал эlegantный человек. — Нет, спасибо, не курю. Курите-курите, я не возражаю. Отпуск должен быть полноценным.

— Смотрите, спутник полетел.

— Их много теперь летает.

— А может, космический корабль, — сказал толстяк.

— Да. Со временем космические корабли покорят космос. И зрелище их будет для нас привычным.

— Будет привычным, — согласился толстяк. — Как же. С других планет станут к нам прилетать. Туристы, в командировку...

Эlegantный человек улыбнулся, и улыбка звучала в его голосе, когда он ответил с некоторой снисходительностью:

— Если они и прилетали, то в отдаленном прошлом. Мне где-то приходилось читать об этом.

— Могли в отдаленном, могут и сегодня, — ответил толстяк просто. Голос его был выше, чем положено иметь такому крупному человеку. Наверное, когда-то голос соответствовал хозяину, а потом хозяин растолстел, а голос остался прежним.

— Не исключено.

— Даже жалею, что я лично с ними не встречался, — сказал толстяк.

— Мне тоже не приходилось.

Эlegantный иронически хмыкнул.

— Разумеется, трудно поверить, — поспешил продолжить толстяк. — Я бы и сам поставил под сомнение, если бы не известный мне случай.

— Ага, — сказал его собеседник и зевнул.

А мне вдруг стало грустно: вдруг этот разговор так и угаснет? Недоставало лишь небольшого толчка, чтобы толстяк поведал какую-то любопытную историю, которая если и окажется выдумкой, стоит того, чтобы ее выслушать. Я даже сделал шаг в их сторону, чтобы подбодрить толстяка каким-нибудь вопросом, но тут без моей помощи эlegantный мужчина, глядя в окно, произнес:

— Метеорит упал.

Я тоже успел заметить недлинный след падающей звезды.

— Вот-вот, — обрадовался толстяк. — Тот след был куда ярче. Потом он пропал, потому что их корабль замедлил ход в атмосфере.

— М-да, — эlegantный мужчина не знал, как реагировать.

— Я был на рыбалке, — сказал толстяк. — Вместе с Паншиным. Он тоже преподаватель. Из нашей школы. Только я веду математику, а он литературу и русский язык. Мы с Паншиным Николаем Сергеевичем сблизились на почве рыбалки. И вот прошлой осенью, скоро год будет, отправились мы на Выю, речка такая в наших местах, с пятницы на субботу. А надо сказать, что Николай Сергеевич — человек легких решений. Он младше меня на восемнадцать лет, ему в ноябре будет тридцать четыре. Регулярно занимается спортом, ходит в туристические походы, очень следит за своей фигурой. Вам интересно?

— Продолжайте, продолжайте. Все равно спать не хочется.

Толстяк ждал другого ответа, но ничем не выказал своего разочарования. Он уже был во власти воспоминаний и говорил, отрешенно глядя в темноту за окном. Чтобы не упустить нити рассказа, я чуть подвинулся к нему.

— Но при этом, я должен заметить, Паншин — человек не очень любознательный. Представьте, мало читает, хотя словесник обязан быть в курсе новинок литературы. Странное сочетание душевной апатии и физической энергии. Но в школе его ценят. И ученики к нему неплохо относятся. А в тот вечер клевало плохо, как стемнело, мы развели костер, распили чайник чая и собрались на боковую... Костер-то догорел.

Толстяк сделал паузу. Главные события в рассказе должны были вот-вот развернуться, и паузу можно было бы принять за актерский прием, рассчитанный на то, чтобы заинтриговать слушателей. Но мне показалось, что тут дело в другом: мы зачастую запоминаем не самый яркий, важный момент события, а какую-то мелочь, деталь. Вот и старый учитель вспомнил о догорающем костре.

— Да... и тут мы увидели след метеорита. Мы сначала даже решили, что по-соседству упал спутник. След оборвался над лесом, и мы ждали удара. А ничего не было. И тогда Паншин сказал, что пойдет посмотрит. Он заявил, что, по его мнению, метеорит упал метрах в пятистах от нас. Я пытался его отговорить. Ну что увидишь в темноте? Но Паншин лишь посмеялся над моими страхами, взял фонарь и ушел. Я уже говорил, что он легок на подъем. Так вот, взял и ушел... А я остался один у костра. Прошло часа полтора. Может, больше. Мне не спа-

лось. Меня беспокоило исчезновение Паншина. Вдруг он заблудился? Вдруг что-нибудь случилось? Наконец я не выдержал и стал его звать. И, представьте себе, через несколько минут он отозвался, вышел к костру и поблагодарил меня за крики — а то он чуть не сбился с пути. Я спросил, нашел ли он метеорит, а он сказал, что получил выгодное предложение, но его не могут долго ждать. Представьте мое удивление, когда он объяснил, что на поляне, недалеко от нас, опустился космический корабль с другой планеты.

Толстяк тяжело вздохнул и умолк. И диссонансом прозвучал деловой вопрос элегантного мужчины:

— С Марса?

— Может быть, с Марса, — согласился толстяк. — Не буду уточнять. Я дал слово Паншину молчать о местонахождении планеты. Вы уж простите, это не играет роли, но я дал слово.

— Как хотите, — сказал его собеседник сухо.

— Извините, — сказал толстяк. — Значит, Паншин объяснил, что корабль срочно улетает, а существа, прилетевшие на нем, предложили Паншину на несколько месяцев отправиться к ним. На их планете он пройдет курс исследований, ибо тамошние ученые хотят познакомиться с человеческим организмом. Затем его привезут обратно.

— Рискованное предложение, — сказал элегантный мужчина.

— Признаюсь, я был полностью растерян. Я только спросил: «А как же занятия в школе?», на что Паншин попросил меня договориться с директором, чтобы тот дал ему отпуск без сохранения содержания. Он сказал, что условия поездки его устраивают.

— Как можно верить на слово совершенно незнакомым пришельцам? А если его искалечат?

— Меня тоже мучили подобные опасения. Я со всей прямотой сказал об этом.

— А он?

— Он ответил, что больше не может ждать. А то они улетят без него. Он взял зубную щетку, бритву и ушел в лес.

— А вы?

— Я сначала побежал за ним, но при моем сложении сразу отстал. Он лишь обернулся и крикнул, что напишет с оказней.

— Я бы на его месте не согласился, — сказал элегантный мужчина.

— Я остался один. И через несколько минут над вершинами деревьев поднялся огненный столб. Так они и улетели.

— И больше вы его не видели и ничего не слышали о нем, — сказал утвердительно элегантный мужчина, будто знал нечто, недоступное пониманию толстяка, который вел себя в той ситуации не лучшим образом.

— Нет, почему же? — удивился толстяк. — Он мне потом написал.

— С Марса?

— Через три месяца упал метеорит. На этот раз настоящий. На нем были выдавлены моя фамилия и должность. И нашедшие метеорит мальчишки принесли его мне в школу. К счастью, никого поблизости не было и мне не пришлось отвечать на недоуменные вопросы. Метеорит был полый. А в нем записка.

Толстяк вытащил из заднего кармана брюк толстый потертый бумажник, залез короткими пальцами в боковое отделение и извлек сложенную вчетверо бумажку.

— Пожалуйста, — сказал он, протягивая ее своему собеседнику.

Тот поднес записку близко к очкам. Ночной коридор был слабо освещен.

— Мелко написано, — сказал он, удерживая листок двумя пальцами.

— Я содержание паузуть помню, — сказал толстяк.

Он взял листок у элегантного человека и прочел вслух:

— Живу на Марсе. Кормят хорошо. Скучаю. Вернусь через месяц-полтора. Здоров. Привет всем нашим. Особенно директору. Николай.

— И он вернулся?

— Вернулся, — сказал толстяк. — Через месяц и пять дней. Я дирекцию предупредил. С каким нетерпением я ждал его возвращения! Представьте себе, побывать на Марсе. А ведь простой учитель...

— Да, крайне любопытно, — вежливо согласился собеседник. — Может быть, он никуда и не улетал?

— Что же, он четыре месяца в лесу прожил?

— Он мог и в другой город поехать, на курорт. Может, он аферист?

— Ни в коем случае! — возмутился толстяк. — Паншин вполне порядочный человек. Если он сказал, что его

пригласили на Марс, значит, его пригласили. Беда совсем не в этом.

— А в чем же?

— В том, что ему не следовало летать на Марс! Неизвестно, когда еще туда снова полетят люди, но Паншин — не тот человек.

— А что случилось?

— Я так ждал его возвращения! Последние ночи спать не мог. Жил в предвкушении его рассказов. А он молчит!

— С него взяли подписку о неразглашении?

— Ничего с него не брали. Кроме меня, кто бы ему поверил?

— А почему же он молчал?

— Он фактически не молчал, он старался, хотел рассказать, но ничего не получалось. Рассказал, что там жарко, есть значительные города, большое разнообразие товаров... Машину купил после возвращения.

— И все?

— Все. Представляете, побывать на Марсе и заметить там только значительные города.

— А машину он какую купил?

— «Жигули» пятую модель. В отпуск на юг собирается.

— А у меня седьмая модель, — сказал элегантный человек. — В Индии купил.

— Вы были в Индии? — оживился толстяк.

— Провел несколько лет, — сказал его собеседник.

— Это замечательно. Ну и как?

— Что?

— Как там, в Индии? Вы бывали в джунглях? Вы видели Бомбей? Ворота Индии? Говорят, они отлично сохранились, хотя стоят на берегу.

— Что с ними делается?

— Ну и что еще? Как там?

Элегантный человек вздохнул и посмотрел на часы.

— Индия — не Марс, — сказал он. — Если бы я на Марсе побывал, тогда, может, и поделился бы интересными сведениями.

Толстяк был расстроен. Элегантный человек взглянул на него, добавил:

— Ну что еще сказать... Социальные контрасты. И климат тяжелый. Жарко очень. Вы спать собираетесь?

— Да-да, пора спать, — согласился толстяк. Он за-

мегил, что все еще держит в руке письмо от Паншина с Марса, достал бумажник и положил листок в боковое отделение. Я пожалел, что не попросил толстяка показать мне письмо. Элегантный человек осторожно отодвинул дверь в купе и пропал в темноте.

Толстяк обернулся ко мне и развел руками. Он будто просил у меня прощения.

— Ничего, — сказал я. — В Индии есть значительные города.

— Да-да, — сказал толстяк. — Я читал об этом.

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ

«Суть установки заключается в возможности проследить возрастные изменения как в прошлое, так и в будущее. Допустим, перед нами фотография старика, снятая где-то в Сибири в восьмидесятых годах прошлого века. Есть предположение, что это фотография известного писателя, поздних портретов которого не сохранилось. Так вот, есть ли возможность убедиться в том, что перед нами именно тот писатель? Наша установка, проанализировав фотографию, синтезирует затем образ этого человека, каким он был двадцать лет назад. Затем нам достаточно сравнить его с известными портретами писателя, чтобы убедиться — не ошиблись ли мы в своих предположениях... Сложнее заглянуть в будущее. Казалось бы, принцип здесь тот же самый, однако если прошлое человека существует объективно, то будущее проблематично. Над решением этой задачи и работает сейчас наша лаборатория...»

— Нет, — сказала Лера и отложила перо. — Керам из меня не выйдет.

— Кто не выйдет? — спросил Саня Добряк, который, пользуясь затишьем, расчесывал свои буйные, до плеч, кудри, видно, стараясь достичь сходства с неизвестной Лере эстрадной звездой.

— Ке-рам.

— Естественно, — согласился Саня. — Керам — мужик, а вы, Калерия Петровна, прекрасная и еще сравнительно нестарая женщина.

— Спасибо, ты хоть знаешь, кто такой Керам?

— Физик, — ни на секунду не усомнился Саня.

— Правильно. Популяризатор археологии. Тебе не попадалась книга «Боги, гробницы, ученые»? А жаль.

— Обязательно прочту, — сказал Саня и открыл свою большую записную книжку, в которую заносил телефоны знакомых девушек и мудрые мысли, которые ему довелось услышать. Какая-то часть этих мыслей была высказана Лерой. Саня Добряк полагал, что Лере лестно, когда ее слова фиксируют подчиненные.

— Нипочка, — попросила Лера лаборантку. — Про-

чти галиматью, которую я написала. Меня просили сделать статью о нашей работе для журнала, а у меня буквально перо валится из рук от литературной бездарности.

— Кстати, Эйнштейн — слышали о таком? — сказал Сапя Добряк, — не написал в жизни ни одного романа. И ничего. Прожил. А ведь даже Эйнштейн не смог бы вычислить из того лупоглазого младенца Льва Толстого, как мы с вами вчера сделали.

Нипочка читала недописанную статью, подчеркивая карандашом слабые места. Ниночка была отличницей во всем, этакая профессиональная отличница, и фамилия у нее была невероятная: Успевающая. Ниночка Успевающая.

— Если ты сегодня куда-нибудь спешешь, можешь идти, — сказала Лера Сане.

— Вас мучает совесть, что вы держали меня вчера до восьми вечера? Но я же не обижаюсь. Я согласен на жертвы. Ведь они ради Науки с большой буквы. Я правильно вас цитирую?

— Ты цитируешь не меня, а директора института и лично знаешь об этом.

— Вообще-то правильно написаю, — сказала Ниночка. — Но совершенно нет тайны. И нужны примеры.

— А что ты предлагаешь?

— Тут обязательно должна быть завязка. Допустим, к нам приносят миниатюру, и никто не знает, кто это такой. Только один старик коллекционер говорит, что это — Лев Толстой в детстве. Ну и так далее...

— Ясно, — сказала Лера. — Придется тебе, Ниночка, все это и написать, потому что я бездарна, а они уже взяли с меня клятву, что статья будет сдана в четверг. Ты чего не уходишь, Саня? Обычно тебя не удержишь.

— Думаю, — сказал Добряк.

Ниночка фыркнула.

— Могу же я иногда думать?

— Нет, Калерия Петровна, мне не справиться, — сказала Ниночка. — Это ответственная работа. Одно дело читать, а другое рассказать, как мы это делаем.

— Ты мне в среду принесешь, что у тебя получится, мы вместе сядем и подумаем. Может, тебя шокирует, что ты, настоящий ученый, будешь печататься в популярном журнале?

— Если вы считаете нужным...

— Тогда иди.

Лера принялась за отчет и так увлеклась, что не за-

метила, как прошло полчаса. Саня все торчал в лаборатории.

— Никакого сравнения, — сказала Лера, закончив абзац. — Отчет писать легче.

— Практика, — ответил Саня.

— Так над чем ты изволишь мыслить?

— Калерия Петровна, поймите меня правильно, — сказал Саня. — Я не о себе пекусь, а о науке.

— Ты всегда печешься о науке. Даже когда уносишь пол-литра спирта на день рождения к двоюродному брату.

— Но это же было полгода назад! Нельзя быть такой злопамятной.

— Можно и нужно. Продолжай.

— Наверное, мы сами еще не знаем всех возможностей установки.

— Конечно, не знаем.

— Вот вы обратили внимание, что наши девочки меня держат за первого человека в институте?

— Я думала, что из-за твоих бесценных мужских качеств.

— Не только. Они догадались, чего вы не догадались.

— Открывай тайну.

— Они мне свои фотографии подсовывают. С тех пор как установка пошла и вы доклад на ученом совете сделали, они только и подсовывают свои фотографии.

— Так почему же?

Лера уже догадалась, в чем дело, но лучше пускай Добряк расскажет об этом своими словами.

— Они хотят знать... — Добряк сделал драматическую паузу, и тут Лера не выдержала и разрушила все одним ударом:

— Какими они будут через десять лет.

— Нет, — сказал Добряк, — через пять. На десять у них смелости не хватает. Вдруг растолстеют?

— Ну и ты сдался?

— Ни в коем случае. Вернее, пока еще не сдался.

— Ясно, недостаточно соблазнили.

— Еще проще, Калерия Петровна. Ведь установку включишь, она столько энергии забирает, что весь институт об этом знает — заработала, голубушка. Без вас дежурный электрик примчится, а при вас — тем более нельзя.

— Так ты предлагаешь теперь, чтобы мы с тобой от-

крыли совместное ателье по прогнозированию прелестей наших девушек?

— Нужны они мне! Я просто хотел проиллюстрировать, как моя идея развивалась.

— Тогда продолжай. Только кратко. Я еще отчет не дописала, а у меня дома мужчины некормленные сидят.

— Ничего, им не впервой. Я подумал, а вдруг наша машина и другое сможет?

— Так не томи же!

— Человек жил, жил и умер. Допустим, от старости или от болезни. А мы не знаем, в каком году это случилось. А знать нужно. Допускаете такой вариант?

— Допускаю.

— Ну ладно, с Пушкиным может и не получиться, он нечаянно умер. А если кто своей смертью? Вдруг наша установка может это указать?

— Как ты себе это представляешь?

— Ведь не до бесконечности человек стареет. Покажем его столетним, а потом она должна вам сказать: ша-баш — дальше ничего не было. Не дура же она.

Есть у Сани Добряка хорошая черта — относиться к приборам и установкам, как к живым существам.

— А зачем? Показать, каким был бы Пушкин в восемьдесят лет? К науке это не имеет никакого отношения.

— А вдруг машина покажет Толстого в восемьдесят и ни шагу дальше, так как после восьмидесяти ему быть не положено?

— Слушай, Саня, отстань ты от меня. И поменьше читай фантастики. Богом тебя молю. Иди домой и дай мне дописать отчет. Этого за меня Ниночка не сделает.

— А может, попробуем разок?

— И не проси. Электричество денег стоит. Кроме того, я все материалы сегодня сдала в отдел к Любимову.

— И даже плохонького портретика нету?

— Нету.

— А если бы был?

— Нету же.

— А если я собой пожертвую? Это же пять минут машинного времени.

Добряк вытащил из бумажника свою фотографию. Уже сделана в размере 6×4 и отглащена. Все как полагается. Только закрой в машину.

— Когда уснул, погодей? — изумилась Лера.

— Я сегодня еще днем нашего фотографа упробил. Сказал, что надо для опытов.

— Ты всерьез собираешься свою смерть предсказать?

— А что? Не исключено, что я проживу сто лет, и даже интересно поглядеть, каков я буду в старости, окруженный внуками и правнуками.

— Истинный сумасшедший дом! — воскликнула Лера. — Мистика в моей лаборатории. Таких людей в нормальном научном учреждении держать нельзя.

— А кто знает? Вы здесь. Я здесь. Больше никого. Пять минут машинного времени. Вчера же я работал до восьми и хоть бы что!

— Нет.

— Даже самая дикая гипотеза имеет право на существование. Можем ли мы... — дальше Саня уже читал по своей книжечке. — Можем ли мы предугадать возможности разбуженных нами сил природы? Любимов. Выступление на институтской конференции третьего октября прошлого года.

— Только пять минут, — засмеялась Лера. — И чтобы следующая смелая гипотеза появилась у тебя не раньше, чем через год.

— Не обещаю.

И Саня принялся готовить установку к работе.

Минут через десять, когда Лера вновь углубилась в свой отчет и благополучно забыла о существовании Добряка, она услышала голос:

— А разве вам неинтересно поглядеть?

— Погоди, — Лера подошла к установке и проверила, все ли в порядке. Все было в порядке. Может, лучше, если Саня кипит, чем угасает от умственного безделья?

— Сколько мне лет? — спросил Добряк. И ответил себе: — Двадцать два.

— Я всегда удивляюсь тому, что ты такой старый, — сказала Лера. — Больше шестнадцати не дашь.

Установка зажужжала, разогреваясь, словно в комнате поселился супер-шмель.

Серьезная физиономия Сани смотрела с экрана на Леру. Каких трудов ему стоило не улыбаться перед камерой. Только мысль о надвигающемся открытии смогла заставить его убрать с лица вечную улыбку.

— А если получится, — сказал вдруг Саня, — это можно будет назвать эффектом Добряка?

— Эффектом Дурака, — проворчала Лера, понимая, Впрочем, что создала не лучший каламбур. — Ты не бо-

ишься узнать, что умрешь через два года от хронической глупости?

Она уже жалела, что согласилась на эту великовозрастную шалость, словно, наслушавшись сказок про ведьм, пошла на кладбище поглядеть, как они летают на метлах.

— Я боюсь, честно скажу, боюсь. Но, что характерно, паука главнее.

Рядком загорелись зеленые огоньки. Можно начинать.

Саня медленно повел рычажок вправо, по оси времени.

Его портрет расплылся по экрану, задрожал и исчез.

— Ну вот, — сказала Лера. — Сломал машину. Этого еще не хватало.

— Все в порядке. Работает. Только не хочет со мной дела иметь. Давайте еще раз пройдем, медленнее.

Портрет Сани вновь возник на экране.

— Медленно, — приговаривал он, — медленно. Еще медленней. — Портрет задрожал и исчез.

— И нет меня, — сказал Добряк растерянно. — Нет, как не было.

— Этого быть не может.

— Да? Сами попробуйте. Машина в порядке. Фотографии в порядке, а меня нету.

Лера сама подошла к установке. Портрет все равно исчезал.

— Какое у нас минимальное деление? — подумала она вслух.

— Месяц, — сказал Добряк.

Она шевельнула рычажком чуть-чуть, на волосок. На месяц или меньше.

И портрет исчез.

— Ничего не понимаю, — сказала Лера. — Ну ладно, завтра разберемся.

— Но установка работает! — сказал Добряк жалобным голосом.

— Работает, работает. Но шалит. Не терпит над собой издевательства.

— Или другой вариант, — сказал Добряк.

— Какой?

— Что я прав.

— Ты хочешь сказать, что умрешь меньше, чем через месяц.

— Да.

— А ну-ка, — сказала Лера, которой надоело шутить. — Прогуляйся назад.

— В прошлое?

— Конечно. И ты увидишь, что тебя не было месяц назад. А виноват во всем фотограф Валя.

Добряк с облегчением бросился к пульта. Этот вариант его устраивал.

Через несколько минут они уже лицезрели медленное превращение Добряка в юношу, подростка и мальчика. Прошлое установка показывала нормально.

Добряк, мрачный, как туча, не мешал Лере вырубить ток.

— Иди домой, — сказала Лера.

— Сейчас, — Добряк выдвинул верхний ящик своего стола. — Сколько всего неразобранного, лишнего. Никогда не успеваешь привести в порядок личные дела. Как говорит поэт Симонов: «Как будто есть последние дела...»

— Иди-иди, — сказала Лера, садясь за стол.

— Я все-таки попрощаться хотел, — сказал Саня. — Вы всегда были добры ко мне, Калерия Петровна. И если нам не удастся увидеться...

— Если ты сейчас не уйдешь, то в самом деле больше со мной не увидишься. Завтра же пишу заявление в отдел кадров, что больше с тобой работать невозможно. Пускай увольняют.

— Разумеется, — согласился Добряк. — Может быть, вы даже успеете все это сделать. И я умру безработным.

Лера с облегчением вздохнула, когда дверь за Добряком закрылась. Надо же быть таким суеверным. Типичная фетишизация техники. Машины загадочны, каждая — черный ящик. Вот мы и переносим на них человеческие качества.

На следующий день Добряк на работу не вышел.

— У него телефон есть? — спросила Лера Ниночку.

— Нет, — сказала та. — Он недавно в Чертаново переехал.

— Он с мамой живет?

— Да.

— Мог бы и позвонить, что не придет, мне он сегодня позарез нужен.

О портретной эпопее она начисто забыла.

Не пришел Добряк и на следующий день.

Под конец дня в лабораторию влетела какая-то пташка лет восемнадцати в белом халатике.

— Саня здесь? — спросила пташка.

— Его сегодня пет.

— Ах, как жалко. — Пташка совсем не оробела при виде Леры. Никто не робел при виде Леры. — А он мне так нужен.

— Мне тоже, — буркнула Лера.

— Я ему фотографию принесла, — сказала пташка. — Он обещал мне ее в машину запустить, чтобы показать, какой я буду в двадцать пять лет.

— Машина — не игрушка, — сказала Лера. Ничего лучше придумать не смогла.

— Ах, как жалко! — повторила пташка. — А я фотографию сделала шесть на четыре. Оп так велел.

И тут Лере пришла в голову дикая мысль. Ведь могут же люди убедить себя черт знает в чем. Она где-то читала, что в Африке колдуны могут приговорить человека к смерти и тот вскорости помирает от страха. Разумеется, ничего подобного не может случиться в Москве, в конце XX века...

Лера вскочила и схватила со стола сумочку.

— Ниночка, — сказала она. — Я уйду пораньше.

— Вы же хотели со мной статью просмотреть.

— Завтра, Нина, завтра.

— Если кто будет звонить, что сказать?

— Скажи, что меня в президиум вызвали.

Лера могла бы спросить адрес Сани у Ниночки, но делать этого не стала — с чего бы вдруг ей бросаться домой к лаборанту? Можно же кого-нибудь послать, если так приспичило. Взяла адрес в отделе кадров.

Такси поймала почти сразу. Нет, все-таки идиот, полный идиот. А почему установка в полном порядке? Весь день сегодня гоняли — хоть бы что.

Дверь открыла маленькая заморенная женщина со строгими глазами и вьющимися, как у Сани, каштановыми волосами.

— Простите, здесь живет Александр Добряк?

— Что еще? — воскликнула женщина. — Что еще случилось?

— Ничего, — Лера старалась унять дрожь сердца. — Он дома?

— Сани пет.

Голос женщины был трагичен.

— Как так нет?..

Нужно было куда-нибудь сесть, не падать же в обморок на лестнице... Но женщина стояла, загораживая дверь, и не собиралась впускать Леру в квартиру.

Лера попыталась сглотнуть комок в горле.

— Как это случилось? — спросила она.

— Он позавчера пришел с работы... — начала женщина, и тут снизу послышалось сдавленное:

— Ах!

Лера быстро обернулась.

Саня, вернее, некто, одетый, как Саня, и ростом схожий с Саней, пытался, прикрывая руками лицо, извернуться и скрыться из глаз.

— Добряк! — воскликнула Лера. — Иди сюда.

Нет, это был не Добряк. Это было жалкое подобие Добряка. Потому что все краски тела, вся его мощь сконцентрировались в малиновой, раздувшейся впятеро щеке. Глаз закрылся, рот был перекошен в односторонней ухмылке. Это был фантастический, невероятный флюс.

— Я от врача, — прошепелявил Саня. — Они его вырвали. Завтра пройдет. Честное слово пройдет. Я думал, обойдется...

— Почему ты не попросил мать позвонить на работу?

— Я только что звонил. По дороге от врача позвонил. Ну, буквально десять минут назад.

— А вчера?

— Вчера я думал...

— Добряк, — сказала Лера. — От флюса не умирают.

— Как сказать, — прошипел Саня. — В истории зафиксированы такие случаи.

— Ты думал, что обречен?

— Да. И не было смысла звонить на работу, чтобы приглашать друзей на предстоящие похороны... — Он постарался улыбнуться, но, видно, тут ему стало больно, и крупная слеза потекла по малиновой щеке. Женщина в дверях тоже заплакала.

— Постой-ка, — сказала тут Лера. — У тебя когда зуб заболел?

— Позавчера утром. Только не очень сильно.

— И ты фотографировался уже с флюсом?

— Ну, это был флюсенок, вы даже не заметили.

— Но ведь установка заметила! Представляешь, что ты наделал? Каково было ей высчитывать твое будущее, если она знала, что уже через день ты на человека не будешь похож. Это же наше счастье, что она от такого усилия не взорвалась.

— Правильно, — согласился Саня, пропуская Леру в прихожую. — Ведь таких людей не бывает.

...ХОТЬ ПОТОП!

Почему-то Суслин оказался на симпозиуме по молекулярным основам наследственности, хотя его никто не приглашал, да и не мог пригласить, так как Суслин наследственностью не занимался.

Симпозиум проходил в академическом пансионате под Москвой. Новый шестиэтажный корпус по пояс вылезал из соснового бора, плавно сбегавшего к реке. Вечером теплые желтые окна казались окнами парохода, плывущего по синему сонному морю.

В тот февраль выпало много снега, и лыжники допоздна реяли вокруг дома-корабля, пронзая высвеченные на секунду круги света от высоких фонарей или квадраты окон, рядами лежащие на снегу.

Возрастом участников симпозиум был молод, и даже солидные корифеи старались соответствовать общему его духу — теряя равновесие, скатывались с исполосованного лыжнями склона на лед реки, лепили снежки из рассыпчатого снега, танцевали до утра в зале под крышей, у сдвинутых в сторону столов для пинг-понга, уступая солидный бильярд бороатым аспирантам, цепляли на лацканы самодельные круглые значки с изображением слона на велосипеде с надписью «Ну и что?».

Заседания шли в кинозале, где над экраном висел длинный плакат: «От ложного знания к истинному незнанию!» Во всем подчеркивался современный дух дозволенного академического скепсиса, интеллигентского подшучивания над слишком серьезными проблемами и яростной преданности еще не апробированным постулатам. Улыбайтесь, утверждал слон на велосипеде, если не хотите рехнуться, взвалив на плечи ответственность за потенциальное коварство генов инженерии.

Суслин выборочно ходил на заседания, вопросами рвался к скандалам, но скандалов не получилось, потому что после первой же стычки с Траубе Суслину была отведена в этом улье сота залетного склочника, и даже дельные и колючие его реплики и вопросы принято было выслушивать с улыбчивой вежливостью и демонстративно игнорировать — не от излишнего снобизма, а от того, что

они, очевидно, диктовались неумным желанием хватать клыками за штаны и беспрестанно напоминать человечеству о том, что острый и едкий ум Суслина не угас, а зубы еще крепки.

Когда Лера Данилевская из Института Экспертизы, скорее милый и приятный гость, чем полноправный член этого сообщества, спросила Траубе, откуда этот Суслин, тот красиво пожал мускулистыми плечами, обтянутыми тесным свитером, и сказал:

— По-моему, он нигде сейчас не работает. Кто-то говорил мне, что он преподает биологию в техникуме. Что равнозначно пенсии.

Траубе говорил о Суслине со снисходительностью восходящей научной звезды, которая успеваешь сиять и в альпинистских лагерях, на теннисном корте, не говоря уж о спонтанно родившемся комитете по организации гигантского пикника.

— Он избрал себе незавидную роль стареющего анфан террибль. Умудрился за двадцать лет поработать во всех мыслимых и немыслимых институтах и ни из одного не ушел без скандала.

— Он талантлив?

— Ах, Лерочка, и почему прекрасных дам так тянет к неудачникам?

— Значит, все-таки талантлив.

— Я не говорил обратного, — попытался ревниво насупиться Траубе, но в ревнивцы он не годился, не его роль. — Но если талант как-то связан со служением людям, то Суслин бездарен.

В этот момент Суслин брел неподалеку с видом опозоренной девушки, которая осмелилась явиться на бал и ловит обнаженной спиной злобный шепот светских кумушек.

Суслин был настолько непривлекателен, что Лера подумала — Гарик Траубе мог бы одарить его состраданием, но не насмешкой.

— Вы — злой мальчик, — сказала она.

— Не злой. Но мое сердце свободно от российской бабьей жалости. Я убежден, что его привел сюда мазохизм. Он не может не быть гонимым — комплекс раннего христианина.

Суслин, словно услышав, обернулся и встретился глазами с Лерой. Лицо у него было правильное, с небольшим, прямым, острым к концу посом, маленькими светлыми глазами и узким лбом. Борода, покрывавшая щеки

п неопытным клинышком тянувшая вниз подбородок, совпадала цветом с кожей, желтоватой, но не смуглой, темнеющей вокруг глаз, точь-в-точь в цвет бровей и упавшей на лоб пряди волос.

Ударившись о зрачки Леры, его глаза тут же метнулись вбок, к столу, уставленному стаканами с вечерним кефиром, и Суслин даже сделал танцевальное движение туловищем, словно собирался повернуть, но остановился, и Лера поняла, почему: верхняя губа под усами была подчеркнута голубой кефирной полоской — он вспомнил, что положенный ему кефир он уже принял.

— Так чем же он занимается? Как ученый?

Траубе протянул ей стакан с кефиром — путешествие к столу и обратно заняло мгновение. Кефир он тянул с удовольствием.

— Сахару жалеют, — сказал он. — Чем он занимается? Чайниковыми идеями. Как и положено. Ищет биоволны мозга. С таким же успехом мог изобретать вечный двигатель.

— Их нет?

— Вечное движение тоже существует. Но вряд ли удастся сделать машину, которая могла бы использовать это движение для молки кофе. Давайте мне стакан, поставлю его на место. Вы после кино пойдете на реку? Говорят, здесь есть финские сани.

На следующий день Лера должна была уехать из пансионата. Она сдала ключ дежурной в гулком вестибюле. Пансионат казался покинутым и нежилым — выступал Лесин, все были в кинозале.

Дорога до шоссе была пробита в строю одинаковых, поджарых, уверенных в себе сосен, сизые, почти весенние тени были нарисованы на снегу, под ногами уютно похрустывало — театральный пейзаж казался знакомым, виденным в детстве и добрым.

А на обочине серого, противоречащего снегу и соснам шоссе стояла прямая, напряженная фигура Суслина с вызывающе поднятой рукой. К его ногам прижался толстый, потертый портфель, вызвавший раздражение в аккуратном сердце Леры, потому что она представила себе, как в нем смяты, сжаты в тугой комок рубашка, зубная щетка, полотенце, журналы и, может, ночные туфли.

Суслин заметил Леру, только когда она подошла к нему и задала ненужный вопрос:

— Вы ловите машину?

— Да, ловлю, — ответил Суслин с вызовом, словно

она застала его за недозволенным занятием, словно машины были дичью, сезон охоты на которую еще не открыт. — Уже пятнадцать минут.

— Ничего страшного, — сказала Лера, которой было неловко за то, что она мысленно обидела его потертый портфель. — Сейчас придет машина. Я вам это гарантирую. Я везучая.

— Везучая? — Он повторил это серьезно, так же, как вчера, впился на мгновение ей в глаза и отбросил взгляд в сторону.

Через минуту возле них затормозил пустой автобус.

Некоторое время они молчали. Сосновый лес кончился, по обе стороны потянулись белые пустые поля.

— Если не ошибаюсь, я вас видел на этом, простите за выражение, симпозиуме.

Своим тоном Суслин высказал все, что думал о симпозиуме, но с тоном спорить трудно, и Лера согласилась:

— Да.

— Надоело?

— Нет, мне пора возвращаться в Москву. На работу.

— А мне надоело.

Он будто ждал возражений, напрашивался на спор.

— Мне надоела болтовня, все эти разговоры обо всем и ни о чем пустая трата времени.

— А почему вы сюда приезжали?

— Я?

Почему-то вопрос его озадачил. Словно такого подвоха он от собеседницы не ждал. Он молчал до самой станции. А на перроне, пока ждали электричку, отошел от Леры и долго, тщательно изучал расписание.

Вагон был почти пуст, пушистый покой плавно тек за окнами, Суслин поставил портфель на колени и удивил Леру, сказав:

— Вы, Данилевская, спросили меня, почему я тут оказался? А вот вы не знаете, что я редко пропускаю симпозиумы, банкеты, защиты, юбилеи и прочие торжества, на которых в центре внимания блистают мои удачливые сверстники?

Как же он мог узнать мою фамилию? Он должен был спросить ее еще вчера...

— Вашу фамилию я подслушал случайно. Вы думаете, я завистлив?

Ему бы пошли очки, подумала Лера. Они бы придали лицу значительность. Большие очки в тяжелой оправе.

— Нет, завидую не их земной славе. Я хочу встре-

тить среди них человека, которому бы она досталась заслуженно, и примеряю ее по себе. Каждый раз примеряю. Тоскую, скучаю, все сборища, банкеты, юбилеи до безобразия одинаковы. Порой я ловлю на себе удивленный взгляд — что нужно этому несостоявшемуся таланту, этому неудачнику среди нас, правильных, и обеспеченных наградами и признанием людей? А потом, бывает, взгляд теплеет. И знаете, почему? Потому что я удачно оттеняю своим невезением его правильность. А я смеюсь.

И он показал, как смеется. Хрипло и тонко.

— Вы, наверно, несправедливы к себе.

Что Таубе говорил о мавохизме Суслина?

— Ах, я все смеюсь, я все шучу, — сказал Суслин, оторвав тонкую руку от портфеля, и сделал ею этакое округлое движение, словно изображал какого-то водевильного персонажа. — Не принимайте меня, девушка, всерьез. Я приехал на этот достойный симпозиум в надежде, что узнаю для себя что-нибудь новое — надо быть в курсе движения науки вообще. Это отличает меня от ленивых духом и добродушных коллег. Но я быстро разочаровался...

Лера молчала, глубоко убежденная в том, что он будет говорить дальше. Ему хотелось говорить, поработать плеткой над своей плотью на глазах окружающих. К тому же Лера уже привыкла к тому, что вызывает собеседников к откровенности. Порой она изнывала от набегов подруг или их мужей, от соседей и родственников, жаждущих выплакаться у нее на груди.

— Я вам не надоед? — спросил Суслин, рассчитывая на отрицательный ответ.

— А сам вы занимаетесь биоволнами мозга? — Лера попыталась перевести разговор в иную плоскость.

— Вам уже сообщили? И с соответствующими эпитетами?

— Я сама спросила.

— Спросили? Обо мне?

Суслин задумался. Будто искал оправдания ее странному поступку.

— Вы из газеты? — догадался он наконец.

— Нет, я же говорила, что работаю в Институте Экспертизы.

— Да-да, слышал, у Митрофанова. Он меня звал, но я отказался. Свободное время мне нужнее. На этом этапе. В сущности, экспериментальный этап завершен — но теоретическое обоснование требует времени. Я чрезмерно

интуитивен — решения приходят ко мне как озарения. А потом доказывай, что ты — не фокусник. На моих идеях написано десятка два диссертаций и монографий, а я преподаю химию в пищевом техникуме. Я не веду себя как положено и не намерен быть как все.

На скамейке напротив уселась бабушка с сеткой, в которой поблескивала большая банка с маринованными огурцами. Бабушка обняла банку и смотрела на Суслина с осуждением, словно он был пьяным, склонным к буйству.

— Представьте себе, — продолжал Суслин, доверительно положив узкую потную ладонь на руку Лере, — что я, большой ученый, завтра умру. Что останется от меня на этом свете?

Вопрос требовал ответа.

— Ваша работа, — осторожно сказала Лера.

— Вы уверены, что она моя? Нет, милая, она не моя. Она того, кто первый успел наложить на нее лапу. Кто первый убежал с тризны, унося в кармане ключ от сундука с драгоценностями. И все. Даже в «Вечерней Москве» не будет рамочки с мелким шрифтом «Пищевой техникум номер такой-то с прискорбием извещает»... Я же не доктор наук.

Электричка медленно ползла среди окраинных корпусов Москвы. На огороженной деревянными щитами площадке ребята играли в хоккей. Женщина с детской коляской остановилась на откосе над железнодорожной выемкой и внимательно вглядывалась в окна поезда, словно ждала кого-то. Лера почему-то подумала, что если она завтра умрет, кто-то другой будет ехать в этой электричке, в этом вагоне, на этой скамейке, и такие же ребята будут играть в хоккей...

— Я не совсем поняла вас...

— Сергей Семенович.

— ...Сергей Семенович. Вас и влечет к земной славе, но вы отвергаете ее. Может, опасаясь, что в ней вам откажут?

— Сегодня — да. Завтра, когда я буду готов к разговору с ними, они не посмеют мне отказать. Вопрос в том, захочу ли я принять что-нибудь из их рук.

«Они» стояли за каждой фразой Суслина, одинаково одетые, в одинаковых галстуках, поднимавшие тосты на одинаковых багкетах. Он вел с ними войну, о которой противная сторона, вернее всего, и не подозревала.

— Назовите мое мировоззрение мрачным. Я полагаю,

что в основе его лежит трезвый расчет. Я не жду подарков, но и сам их никому делать не намерен. Они не имеют права воспользоваться тем, что мучило меня, рождалось в родовых схватках, но за что я не получил ни признания, ни благодарности.

— Какое отношение это имеет к науке?

— Не к науке. К личности. Вы знаете, в чем заключалась последняя просьба Левитана?

— Это художник такой, — неожиданно сообщила бабушка с огурцами.

Рельсы за окном уже размножились, заполнили пространство вплоть до стоявших в стороне пустых составов — поезд подходил к вокзалу.

— Левитан попросил брата сжечь все письма, полученные им. От женщин, от родных, от друзей, от Чехова, наконец. И брат на глазах умирающего выполнил его просьбу. Приятно осуждать Левитана, биографы обижаются. А для меня он — пример.

Лера непроизвольно взглянула на бабушку. Но та только покачала головой и ничего не сказала. Тогда сказала Лера:

— Но Левитан не жег своих картин.

— Уже никто не мог на них покуситься. А вот на его личную жизнь набросились бы как гиены. Я понимаю Левитана, как самого себя. И уверяю вас, когда я умру непризнанным, а они прибегут за добычей, — добычи не будет. Ни листочка.

Лера поднялась. Поезд, дернувшись, замер у платформы.

Суслин шел по платформе рядом, молчал как человек, наговоривший глупостей на вечеринке и теперь переживающий тяжелое и стыдное похмелье. Только на стоянке такси он вдруг потребовал, чтобы Лера дала ему свой телефон.

После этого Суслин раза два звонил ей, но умудрялся попасть в неподходящее время. Первый раз дома были гости и надо было их срочно кормить. Второй раз заболел гриппом Мишка. И все-таки Лера должна была себе признаться, что она благодарна обстоятельствам, заставлявшим ее после первых же фраз вешать трубку.

Как-то, встретившись на улице с Гариком Траубе, в обязательном и коротком разговоре она почему-то спросила:

— А как там ваш Суслин поживает? Открыл свои биволны?

— Если и открыл, то таит от окружающих, — сказал Траубе. Он нес в руках связанные шнурками австрийские горнолыжные ботинки. В первую же минуту успел сообщить профану Лере, сколько они стоят и как невероятно трудно их было достать. Суслин был для него ненужным отвлечением, а Лера — субъектом, которого можно было приобщить к поклонению ботинками.

— Я ехала с Суслиным в Москву с симпозиума, он делился со мной своими черными мыслями.

— Нечем делиться, — сказал Траубе уверенно. Он был так весел и доволен собой, что Лере стало вдруг стыдно, словно она легкомысленно выдала доверенную ей Суслиным тайну.

И еще пожалела, что не взяла у Суслина телефона, не сможет его найти, ведь у нее — тысячи приятелей и несколько друзей, у Траубе — полмира в приятелях, а Суслин приходит в свой пустой дом (почему-то она решила, что он живет один) к несуществующим биоволнам, совсем один.

Весь вечер она вспоминала, какой номер у пищевого техникума, в котором он читает химию, и запоздало расстраивалась от того, что на вокзале села в такси, не пригласив его с собой, ведь, может, у него не было денег.

С утра, обзвонив все пищевые техникумы, она нашла нужный и узнала, что Суслин там больше не работает, два месяца как уволился. Лера дала себе слово, что обязательно разыщет Суслина через Академию наук, и это обещание успокоило ее. Благополучно занявшись делами, она на следующий же день забыла о его существовании.

Суслин сам позвонил через неделю. Разумеется, снова дома были гости, но Лера, облегченно обрадовавшись звонку, унесла телефон на кухню, сказала, что разыскивала его.

— Зачем звонили? — спросил Суслин настороженно, и за звуком голоса, вовсе не оттаявшим от ее признания, она сразу представила себе укол маленьких острых глаз и рыжеватую тусклую бородку.

— Вы куда-то исчезли, — сказала Лера. — А я вдруг испугалась.

— Чего?

— Я в самом деле рада, что вы позвонили мне.

— А когда вы обо мне подумали?

Этого человека не размягчишь нежностью.

— Неделю назад.

— Поздно, — сказал Суслин разочарованно. — Не сходитя.

— Что не сходитя?

— Неделю назад со мной ничего не случилось.

— А когда случилось?

— Больше месяца назад. Месяц и три дня.

— Так что же?

— У меня был инфаркт, — сказал Суслин. — Самый настоящий. Очень обширный. Я вас не обманываю.

— Какой ужас. Но теперь вы поправляетесь?

— Как видите. Мне уже можно вставать. Здесь, должен вам сказать, варварский метод обращения с сердечниками. Нас заставляют вставать и ходить чуть ли не на второй день после инфаркта. Очень велик риск повторного приступа. Вы меня понимаете?

И тут он недоволен, подумала Лера. И спросила:

— Вас можно повестить?

— Разумеется. Кстати, обязательно принесите мне двухкопеечных монет. Здесь автомат стоит на лестничной площадке и ни у кого нет двухкопеечных монет.

Когда Лера пришла в больницу, Суслин в синем тренировочном костюме сидел в холле четвертого этажа, смотрел телевизор, и на его физиономии было написано крайнее презрение к тому, что происходит на экране. На экране шел футбольный матч.

Борода у Суслина отросла и из клинышка превратилась в малярную кисть. В остальном он не изменился.

Они сели на диван у окна, Лера начала вытаскивать из сумки апельсины и парниковые огурцы, а Суслин после первых неуверенных попыток запихнуть ее дары обратно в сумку передумал, принял и отнес в палату, а когда вернулся, обнаружилось, что говорить им не о чем, словно оба выполнили ритуальное действие, после которого положено еще некоторое время пребывать в обществе друг друга, ожидая момента, когда можно откланяться и с облегчением расстаться.

Вместо повести о своей болезни Суслин вдруг сказал:

— Вы не представляете, как много для меня значит ваш визит.

— Ну что вы...

Лера осеклась, чтобы не сказать: «На моем месте так поступил бы каждый».

— Честное слово...

Лера вдруг поняла, что он близок к слезам, что у него

дрожат губы и он замолчал потому, что боится, как бы голос его не выдал.

Лера сказала:

— Ну вот, совсем забыла. Я же вам последний номер «Иностранной литературы» принесла.

Она закопалась в сумке, чтобы не смотреть на него, но он уже овладел своим голосом и продолжал:

— Потом, потом. Я хотел вам сказать, что уже первая наша встреча произвела на меня большое впечатление. Это отношение искреннего участия, которое... Простите, я сегодня весь день репетировал эту речь и получалось очень складно.

Он робко улыбнулся, и Лера поняла, что не видела ни разу его улыбки, его лицо не было для этого приспособлено, и мышцы щек двигались неуверенно, словно он был актером, который так давно не играл роль, что теперь мучается, вспоминая.

— Мы говорили о том, что после меня ничего не должно остаться, помните?

— Да.

— А я ведь чуть не умер. И много размышлял потом. Вот это было главное, что он хотел ей сказать.

Лере хотелось бы найти какие-то правильные, точные, нужные ему сейчас слова. И от того, что она не знала, какие слова правильны, возникал страх все испортить, и она молчала.

— А ведь вы не все знаете, — сказал Суслин. Он снова улыбался, теперь куда уверенней. — И воспринимаете мою речь в плане абсолютной абстракции.

Лера послушно кивнула.

— Так знайте же — я не только нашел биоволны мозга, но и научился их улавливать. Уже есть приемник биоволн.

Биоволн не существует, уверял Траубе, который все знает. Это все равно, что построить вечный двигатель.

— Калерия Петровна, — продолжал Суслин, не смущаясь отсутствием энтузиазма. — Вы мне не верите? Мне никто не верил, куда более знающие люди, чем вы. Я выйду отсюда и все вам покажу. Вы знаете, что я ушел из техникума, потому что пришло время для последнего поступления. Я почти написал статью, короткую, три страницы на машинке. Этого достаточно.

— И земная слава?

— Ах, как вы злопамятны! Черт с ней, с земной славой. Хотя я от нее не намерен отказываться. Знаете, ку-

да я пойду первым делом? К академику Чхеидзе. Три года он терпел мою лабораторию. А ведь я сам от него ушел. Озлился и ушел. Я приду к нему и скажу: по справедливости вы должны стать моим соавтором.

Гадкий утенок. И почему она никак не может разглядеть в нем лебедя?

— А ваш приемник? — спросила она. — Вы его покажете Чхеидзе?

— Я его покажу вам. Вы будете первая, кто его увидит в работе. И тогда вы мне поверите.

Когда Суслин провожал Леру к лестничной площадке, шагая с преувеличенной осторожностью сердечника, он остановился у телефона-автомата и строго спросил:

— Вы двухкопеечные монеты принесли? Мне их много надо. Штук пять.

Лера высыпала ему на ладонь кучку монеток, и он быстро сжал пальцы, словно поймал муху.

Лера попрощалась с ним. Не выпуская монет, он протянул ей кулачок.

— Погодите, вы же главного не знаете, — сказал он вдруг. — Мой приемник работает. Всегда работает. И пока я был здесь, он тоже работал. Это очень смешно. И он настроен на биоволны моего мозга. Их можно определять, как отпечатки пальцев. Вы придете, когда меня будут выписывать?

— Обязательно.

— Это самое главное. Важно, чтобы я на обратном пути не попал под машину. Понимаете?

— Нет.

Суслин вдруг подмигнул ей.

— Неужели не поняли? Мой приемник соединен с металлическим ящиком, в котором хранятся все мои работы, все расчеты — все. Если мой мозг прекращает посылать биоволны, включается цепь, это элементарно, — и в ящике все сгорает. Я бы умер, и не осталось бы ни строчки. А впрочем, никто бы не стал их искать. Только об этом никому ни слова. Я вам доверяю.

И он почти игриво погрозил ей пальцем.

Ну и дурак, бормотала про себя Лера, спускаясь по лестнице, ну и дурак. Господи, какой он весь изломанный.

— Девушка, — остановил ее гулкий бас.

— Вы меня?

Ее догонял объемистый врач с черным каракулем волос вокруг блестящей лысины.

— Это вы навещали Суслина?

— Да, — сказала Лера.

— Где же вы раньше были?

— Я только два дня назад узнала, что он здесь.

Лера чувствовала себя смертельно виноватой.

Врач схватил ее за руку.

— Поймите меня правильно, — ворковал он, не без удовольствия разминая в руках пальцы Леры. — Суслин — моя гордость. Восемь минут клинической смерти.

— А он мне ничего не сказал...

— Он и сам этого не знает. При его нервном состоянии, бесчисленных комплексах и маниях... я бы никогда не осмелился. Когда-нибудь потом, когда он будет вне опасности, мы порадуемся вместе. Восемь минут — и никаких последствий.

Этот разговор тут же вылетел из памяти. Впрочем, этому было вполне прозаическое объяснение. Лерин взгляд упал на настенные круглые часы. А часы показывали половину восьмого. Дома голодные Олег и Мишка, которые не представляют, куда девалась их жена и мать. А ведь она должна еще купить чего-нибудь на ужин.

Навестить Суслина Лера не собралась, но обещание встретить его при выписке выполнила. Даже успела купить букет сирени, чем привела Суслина в полную растерянность, потому что он совершенно не представлял, что положено делать с букетом, некоторое время держал его как веник, словно намеревался подмести им вестибюль больницы, потом вернул его Лере и успокоился. Он был явно взволнован, и в этом не было ничего удивительного.

В такси он спросил:

— А вы знаете, не исключено, что я побывал на том свете.

Он уколол Леру настороженным взглядом.

Какая я дура! Гулкий бас доктора зазвучал в ушах. Ведь Суслин был восемь минут мертв. И если железный ящик не плод его тщеславного воображения — все сгорело! А сейчас он увидит, и в его состоянии... Ну что делать? Везти его обратно в больницу?

— Ничего страшного, — услышала Лера свой собственный жизнерадостный голос. — Вы же живы. Восстановить куда проще, чем изобретать вновь...

— Вы же ничего не понимаете!

У двери он сунул ей в руку ключ, сказав:

— Мне вредно волноваться.

Дверь отворилась. Не раздеваясь, он бросился в единственную комнату, помесь неустроенного холостяцкого логова и лаборатории, опрокинул стул, откинул локтями руки Леры, старавшейся его удержать или поддержать, и ринулся к приборам, громоздившимся на длинном, во всю стену, столе. Он долго возился с задвижками и запорами черного ящика, из которого, подобно разноцветным червякам, лезли во все стороны провода. Время ощутило замедлило ход, и Лере казалось, что он уже никогда не сможет этот ящик открыть — и лучше бы, чтобы не смог, потому что она понимала, что если Суслин — не сумасшедший, в ящике ничего нет.

Тонкие пальцы Суслина замерли над ящиком. Они дрожали. Суслин обернулся к Лере и сказал тихо:

— Может, вы, а?

И тут же поморщился, охваченный негодованием к собственной слабости, и рванул крышку.

Лере не было видно, что там, внутри. Она шагнула, чтобы заглянуть Суслицу через плечо, но он уже запустил обе руки в ящик и, вытащив пригоршню черного пепла, с каким-то мрачным торжеством обернулся к ней.

— Ну вот, — сказал он, протягивая вперед руки и держа пепел бережно, словно птенца. — Вы же видите!

— Может, что-нибудь осталось? — сказала Лера.

— Осталось! Температура восемьсот градусов! Осталось... Ничего не осталось. И не могло остаться. Вы вот не знаете, а я почти восемь минут был на том свете. Меня реаниматоры зачем-то вытащили, до сих пор гордятся, а скрывают, берегут мои нервы. Мне санитарка рассказала. Что же вы полагаете, восьми минут было мало, чтобы принять сигнал?

— Так вы знали?

Лера открыла сумочку. Куда же она супула валидол? Ведь специально клала валидол...

— Иначе бы не просил вас со мной поехать. Обошелся бы. Знал и трясся.

— Успокойтесь, — сказала Лера. Вот он, этот проклятый валидол. Теперь надо заставить его принять таблетку. — Мы все восстановим.

— Восстановим, восстановим... разве в этом суть? Чем, вы думаете, я занимался последние две недели в больнице?

Он метнулся к своей сумке, рванул «молнию» так, что она чуть не вылетела из швов, пепел кружил по

всей комнате, словно после большого пожара, Лера сказала, протягивая ему таблетку:

— Вот валидол, обязательно надо...

— Спасибо, — сказал он, роясь в сумке, повернул к ней голову, приоткрыл рот, чтобы она положила туда таблетку. — Вот!

В его руке трепетала пачка исписанных листков.

— Разумеется, многое можно восстановить. И восстановлено.

— Вы не грызите таблетку, пускай лежит под языком.

— Не учите. Я же сердечник.

— Я буду вам помогать, если надо...

— Нет, она ни черта не поняла! — Суслин смотрел на Леру с искренним изумлением. — Ни черта!

— Успокойтесь, Сергей Семенович...

— Ведь установка сработала! Понимаете, сработала. Она приняла волны за пять километров! Вы представляете, какая физиономия будет у вашего любимого Траубе, когда он узнает, что я принимаю за пять километров!

ПИСЬМА РАЗНЫХ ЛЕТ

1

18 января 1988 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Я давно не писала Вам, не от лени, а потому, что было некогда. Мы все трудимся (меньше, чем хотелось бы) и суемтся (больше, чем хотелось бы). К тому же осень у меня получилась неудачная. Мама на два месяца слегла с воспалением легких, потом свалился сын с жестоким гриппом, лучшая подруга разводилась с мужем и вела со мной многочасовые беседы о том, что все мужики — сволочи (я это подозревала и раньше, но не могла сформулировать). Так что из лаборатории я неслась по магазинам и аптекам, затем принималась врачевать моих больных. А когда всех утешить и освободиться, возникает ощущение, что в глаза тебе вставили спички — мечтаешь, как бы поспать хотя бы часов шесть. Но надо садиться за работу — в основном, пустяковую — рецензию создать, прочесть чью-то диссертацию или готовить годовой отчет...

Меня заставил «взяться за перо» странный феномен, который я наблюдала в последние дни. И тут я жду Вашего просвещенного мнения.

Сначала я решила, что у меня начались галлюцинации... Нет, так Вы ничего не поймете. Следует изложить предысторию проблемы.

Три года назад мой муж был в Индии. Там он, движимый не столько прихотью, сколько желанием не отстать от товарищей, приобрел у охотников двух лемурув. Привез он их в черных мешочках в карманах плаща. Лемуры смирились с таким унижением и вели себя на таможне смирно.

Поначалу эти зверьки меня умилили. Очевидно, природа специально сделала их такими, лишив прочих средств защиты от хищников. Я допускаю, что при виде тонкого лорп (к этому виду относились наши жильцы) сжимается даже задубелое сердце тигра.

Представьте себе существо размером с белку, без хво-

ста, покрытое густой короткой серой шерстью, с тонкими, научными ручками и пожками (именно ручками и пожками, потому что у лориков совершенно человеческие пальцы, с ноготками в квадратный миллиметр). Основное место на их курносых физиономиях занимали громадные карие глаза, полные такой укоризны и покорного страха, что гости, поглядев на наших пленников, тут же понимают, что только крайне жестокий, отвратительный человек может содержать этих крошек в неволе. Жалкие оправдания моего мужа, уверяющего, что купил он лориков у охотников, которые ловят их, чтобы снимать шкурки (так называемый мех «обезьяна»), что мы их кормим, держим в тепле и так далее, только усугубляли неприязнь к нашему семейству.

В общежитии эти трогательные крошки совсем не так очаровательны. День они проводят в сладком сне, а с наступлением темноты выбираются из клетки и начинают бродить по дому либо повисают в фантастических позах на шторах или люстре. Ни в какие контакты с нами, их хозяевами, они вступать не желают. Никаких поглаживаний или прикосновений не выносят. Зубы у них острые, мелкие и многочисленные, к тому же на них всегда остается пища, и укусы лориков не заживают неделями. Не зря индусы в Майсоре считают их ядовитыми. Никакой благодарности к людям они не испытывают, никого не узнают — а стоило бы. Ведь все наше свободное время мы проводили на Птичьем рынке или в кабинетах директоров зоомагазинов (с приношениями) — эти крошки питаются лишь живыми насекомыми, а попробуй обеспечить их живыми насекомыми в Москве в разгар зимы. Таракапы, правда, дома вывелись, но мучные черви расплозились по квартире, а в укромных уголках стрекотали разбежавшиеся сверчки. Притом лорики патологически трусливы, и даже я, отлично изучив их эгоистические характеры и спесь, происходящую от сознания того, что они — самые древние млекопитающие Земли, зачастую терялась, встретившись с ними взглядом. Они делали вид, что знают: я их специально откармливаю, чтобы сожрать. Если не сегодня, то на той неделе. Наконец, последняя беда — мы даже не могли вечерами вместе куда-нибудь пойти. Кто-то должен был дежурить дома, чтобы проводить вечернюю кормежку, после которой они разбегались по комнатам, поливая полюбившиеся им предметы едкой мочой и посыпая пол козьими орешками. Сидишь, читаешь вечером, а краем глаза видишь,

как беззвучно, тенью, скользит по полу паук, приподняв шерстяную попку. И сам на тебя косит глазом. Знает, ведь второй год вместе живем, что я не трону, но стоит пошевелить головой, как он замирает в диком ужасе, а затем, избрав оптимальный вариант спасения, несется за штору...

А в прошлом году мы не выдержали. После некоторых (до определенной степени лицемерных) переживаний мы согласились отдать их одной милой одинокой девушке лет пятидесяти, которая живет в отдельной квартире с кошкой, собакой и тремя своими лемурами. Причем живет она не в Москве, а в Киеве.

Сначала мы даже скучали по лорикам, и я как-то полгода назад согласилась на совершенно ненужную и муторную командировку в Киев для того, чтобы увидеться с лемурами. Один из них умер за это время. Второй меня не узнал, хотя опасливо принял из моих пальцев жирного мучного червя — скромный дар московских друзей.

Простите, Виктор Сергеевич, что забыла о краткости — сестре эпистолярного жанра, а написала эссе на тему «Содержание тонких лори в домашних условиях». Все. Перехожу к делу, то есть к галлюцинациям.

Несколько почей назад я сидела на диване, читая слабую диссертацию и размышляя о том, как бы отказаться ее оппонировать, не обидев смертельно автора, и вдруг краем глаза, словно в добрые старые времена, увидела медленно бредущего через комнату лорика. Лорик заметил мой взгляд, замер, прижав к груди сложенную в кулачок ручку, сжался от ужаса. И исчез. Я протерла глаза, поняла, что заработалась, замоталась, и еще немного — придется идти к психиатру. Я сижу на диване, а посреди комнаты (на этот раз я почему-то глядела именно в ту точку) возникает лорик, априори перепуганный, и хлопает глазами. Я вижу его совершенно явственно, до последней шерстинки. Расстояние от силы два метра. В ужасе, что его застучали, лорик пускает лужицу и растворяется в воздухе. Еще одна галлюцинация? Как бы не так! Лужица-то осталась. Клянусь всем святым, лужица осталась! Я ее вытерла тряпкой и только потом поняла, что это все сверхъестественно.

Вот тогда я и решила Вам написать. Вы всегда были терпимы к странностям человеческого существования и, по крайней мере, искали рациональное объяснение иррациональным явлениям. Вам кое-что удавалось.

Пожалуйста, дорогой Виктор Сергеевич, не оставьте меня своими молитвами, бросьте снисходительный профессорский взгляд на мою жалкую судьбу и подумайте, что бы это могло быть?

Кстати, я не удержалась, позвонила в Киев, новой владелице лориков. Та мне с прискорбием сообщила, что наш последний лемур умер за неделю до описанных мною событий. То есть вернуться домой, подобно заблудившейся кошке, он не мог.

Остаюсь Ваша преданная ученица

Лера.

2

19 января 1988 г., Москва

Дорогая Римма!

Все собиралась тебе написать, но ужасно много работы. Наша зав. лабораторией, Калерия Петровна, я тебе о ней писала, совершенно поскодила с ума. Нет, лучше работать под руководством мужчины, современные мужчины куда мягче и отзывчивей, а я к тому же умею с ними обращаться. Но в других отношениях наша Калерия не самый худший вариант. Несмотря на свой пожилой возраст и плохую прическу, она за собой следит и некоторым еще нравится. Но какой ужас дожить до тридцати с лишним лет и так ничего в жизни не увидеть! Ну ладно, хватит о работе. Ты меня спрашивала, как складываются мои отношения с Саней Добряком. Отвечаю: сложно. И по моей вине. Я недостаточно к нему внимательна и даже позволяю насмехаться, чего он не выносит. Позавчера я разрешила ему пригласить меня в кино, а там встретился некий В (так, случайность моей бурной молодости). Он со мной поздоровался, а у меня не было причины его игнорировать. Саня взбеленился и всю дорогу до дома дулся. Какая-то Достоевщина! Разве я виновата в моей внешней привлекательности? Чтобы его еще позлить, я не разрешила ему меня поцеловать на прощание. Теперь он со мной не разговаривает. Конечно, я могу вернуть наши отношения в норму одним взглядом, но не собираюсь этого делать. В принципе он должен помнить, что существует масса претендентов на мою душу. Ты меня понимаешь?

Как твои дела? Я вчера по телеку смотрела, что у вас жуткая погода, боюсь, как бы не случилось снова наводнения. Хотя это, наверное, очень интересно, когда

наводнение? Мы бы с тобой гоняли на катере по улицам и спасали женщин и детей. У вас столько моряков, что я иногда тебе завидую, хотя у меня больше склонности к ученым. В них, даже в начинающих, как Саня, есть серьезность и внутренний ум.

Прости, что кончаю писать, — пришла Калерия, не выспалась, глаза опухли, наверное, опять ночью трудилась — нелегко женщине в науке! Она уже глядит на меня косо — чего я не работаю? Сейчас, моя дорогая начальница, сейчас...

Целую, напишу скоро продолжение,
твоя верная подруга

Тамара.

3

24 января 1988 г., Ленинград

Дорогая Лера!

Порой мне трудно представить себе, как Вы там руководите лабораторией, пишете докторскую, делаете открытия... Вы для меня (стойкость стереотипов родительского восприятия) всегда девчужка, впервые накрашившая глазки и этим начавшая новую, студенческую жизнь. Вы сейчас возмутитесь и скажете, что и сегодня Вы не стары, по-прежнему красивы, вернее, куда как красивее — женщины Вашего типа расцветают к тридцати годам.

Письмо меня Ваше обрадовало и позабавило. Вы очень мило описали этих лемурув, я даже залез в Брема, но тот о них знал немного. Зато у Дарелла я нашел описание подобного зверюшки. Дарелл пишет, что тонкие лори в настоящее время очень редки и напоминают ему боксеров, потерпевших вчера сокрушительное поражение на ринге. Эффект этот достигается темным ободком шерсти вокруг глаз и общим скорбным выражением физиономии.

Знаете, Лерочка, я глубоко убежден в трезвости и устойчивости Вашей психики. Так что давайте отложим галлюцинации в сторону, тем более что Вы сами в это не верите, к тому же галлюцинации не дают луж на паркете.

Разумеется, можно придумать целый ряд внешне соблазнительных гипотез этого явления, в основном оптического характера, однако меня самого более иных гипотез греет собственная давнишняя мыслишка. Она почти

вымерла во мне за неизменным к ней подтверждающих фактов, но вот Вы написали — что-то щелкнуло в мозгу, и пошли крутиться колесики...

Когда-то, очень давно, я натолкнулся в записках одного натуралиста, работавшего с пресмыкающимися в Африке, на описание странного феномена. Ему приходилось наблюдать странное свойство одного из видов (весьма древних) эндемичной и крайне редкой ящерицы, объяснения которому не нашлось. В случае крайней опасности ящерица исчезает, практически растворяется в воздухе и возникает вновь через несколько секунд (или минут). Никто, разумеется, не обратил внимания на эту чушь, и прошла она незамеченной, а сам наблюдатель, по-моему, не настаивал на своем открытии. Да и книжку эту я давным-давно потерял при бесконечных переездах. Но тогда я задумался: что же случается с ящерицами при условии, если они в самом деле исчезают? Значит, они перемещаются. Куда? Давайте, сказал я сам себе, пофантазируем. Есть два пути перемещения — в пространстве и во времени. И еще неизвестно, какой из путей более антинаучен. Ящерицы, помню, исчезали из клетки или террариума, то есть преодолевали неодолимую для них преграду, причем мгновенно. Возникали же вновь внутри этой клетки. И тоже мгновенно... Нигде в окрестностях клетки они не наблюдались. И знаете, Лерочка, мне тогда больше понравилась вот такая мысль: а что, если эволюция когда-то, не подумавши толком, снабдила некоторых из незащитных своих созданий таким механизмом спасения от опасности? Она ведь очень изобретательна, эта эволюция! Допустим, существует некоторая корреляция между уровнем первого состояния особи — степенью опасности и физическим выражением этого эскапизма? В мгновение смертельной угрозы особь совершает мгновенный переход по оси времени, скажем, перемещается в будущее. Преследователь теряет жертву из виду, удаляется по своим делам, и тогда она благополучно возвращается на место. Невероятно? Да, я тоже так подумал. А подумавши, перешел к иным, куда более вероятным проблемам. Хотя и планировал потратить какое-то время на проверку своей сумасшедшей гипотезы. Я даже хотел поискать себе подопытных кроликов — каких-то существ, давно застывших в эволюции, — реликтов животного мира, притом не имеющих сильных челюстей... Кстати, лемур, точнее тонкий лори, — идеальный объект для таких опытов. Почему он не вымер, почему

он не съедет поголовно за последние несколько миллионов лет? Бегать быстро он не умеет, огрызнуться толком не умеет, днем вообще плохо видит и полностью беззащитен... и так далее.

И вот, представьте себе, проходит много лет, и я получаю письмо от бывшей любимой ученицы, которая, оказывается, наблюдала явление, в чем-то схожее с тем, над которым я размышлял. Только на другом конце «телефонной линии». У Вас лемур, которого уже давно нет, возникает. Возникает реально. И исчезает. Соблазнительное подтверждение сумасшедшей гипотезе (за неимением иных подтверждений).

Передавайте приветы Вашему уважаемому семейству. Надеюсь увидеть Вас в Питере на биофизической конференции в марте. Найдется у Вас неделя? Тогда уж не забудьте, посетите мою берлогу.

Ваш В. Кострюков.

4

12 апреля 1988 г.

Римуля, здравствуй!

Ты, наверное, меня совсем забыла. И правильно сделала. Скоро уже «яблони в цвету», а я даже в парикмахерской не была месяц, не поверишь! Тут у меня день рождения был, двадцать лет, дата! А я вспомнила об этом только днем — мать звонит в лабораторию, какие, говорит, у тебя планы на вечер, гости к тебе придут или сама умотаешь? И меня тогда как веником по голове трахнуло! Ты знаешь, что мой Саня похудел на три кило? Такая жизнь, как говорят французы.

И все из-за нашей Калерии. Она действительно сошла с ума. Есть плановая тема, есть задачи, стоящие перед нашей наукой, а мы занимались чем? Мы искали по всей стране лемуров.

Ага, ты не знаешь, что такое лемур? Лемур — это очень первобытный зверь, почти вымер, только в очень тропических странах он еще обитает. Похож на алкоголика и всегда спит, но вообще-то он лапочка. Мы раскопали даже двух, но кормить их я не буду — умру, но не буду — они червяков жрут. Живых! К нам Калерин учитель приезжал, такой толстый профессор Кострюков из Ленинграда, он, по-моему, в Калерию тайно влюблен, даже не приходит в лабораторию без цветов. Я сказала Сане — учти, говорю, если не воспользуешься опытом,

уйдешь в отставку. Он мне вчера букет роз приволок, рублей на десять, даже страшно, как он теперь до полочки доживет, но я была искренне тронута его поступком, хоть и по подсказке. Я думаю, что в Сане есть ко мне настоящее чувство. А ты как думаешь? Кострюков где-то достал нам денег, на нас, по-моему, пятнадцать других институтов работают, телефон вообще оборвали, а от этих лемуров запах, я тебе скажу, не позавидуешь. Хорошо еще, мне один поклонник (я тебе о нем не писала, потому что в моей жизни он всего-навсего «летучий голландец») в свое время подарил флакон французских духов «Клима» (знаешь, шестьдесят рублей за бутылочку!), и я себя поливаю изо всех сил. А Кострюков пришел как-то с одним химиком и говорит ему: «Это самый безумный и прекрасный цветок по имени Тамара, он употребляет только духи фирмы «Клима». Представляешь, в таком возрасте, а по запаху духи определяет! На прошлой неделе они приволокли откуда-то дохлого лемура — Санечку посылали, беденького моего. Праздник был, словно это живой тигр. Сбежались тридцать докторов наук и все на него смотрели, а потом, как у нас в науке водится, изрезали его на кусочки.

Но ничего, научный прогресс — это движущая сила. И я не посторонний человек в науке. Найдем в лемуре фактор-т латинское и сделаем небольшой переворот в естествознании (и в физике, разумеется, как понимаешь). Я тебе напишу еще, когда будет время. Ты не собираешься в Москву? Я бы показала тебе Кострюкова. Он бы тебе понравился. Кстати, Саня к нему меня ревнует. Без всяких оснований.

Обнимаю, твоя верная подруга

Тамара.

5

23 января 1989 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Дела наши совсем плохи, дальше некуда. Боюсь, что мы проигрываем битву. Вчера Митрофанов вызвал меня к себе и осторожно намекнул на то, что нашу тему закрывают. Так что Вы мне нужны сейчас в качестве тяжелой артиллерии. Позвоните в президиум, а? Мне Иван Семенович сказал, что без Вашего личного разговора с Дитятиным вряд ли что удастся сделать.

Новостей мало. Я Вам писала о них на прошлой не-

деле. Тринадцатая серия с белыми мышами дала отличный нулевой результат, хотя Мямлик (помните, это тот серый крупный лорик, которого мы получили из Праги) дал три исчезновения подряд. Ваш друг Саня Добряк остался позавчера на ночь в лаборатории, чтобы не упустить Мямлика, если тому захочется возвратиться обратно. Но, по-моему, заснул, в чем не желает признаться.

Ваша прекрасная Тamarочка принесла ему термос с кофе, который по рассеянности посолила. Даже любовь Сани к Тamarочке не смогла заставить нашего героя испытать этой живительной влаги.

Ну ладно, я отвлеклась, Виктор Сергеевич, помогите!

Ваша Лера.

6

6 июля 1989 г., Москва

Глубокоуважаемая Тамара!

Как там у тебя в Сухуми, загорела ли ты? Завидую тебе страшно. Розовая мечта — лечь с тобой рядом на пляже, слушать шум волн и смотреть в голубое небо. К сожалению, у меня отлично развито воображение, и я представляю себе, как ты уходишь вечером на эстрадный концерт с каким-то мускулистым брюнетом. Ну ничего, я тоже не один остался в Москве на жаркий сезон. Мы с Калерией сидим в опустевшем институте и продолжаем трудиться за всех.

Ты спрашиваешь, как у нас дела? Особенно ничего. Фактор-т пока не срабатывает. Хотя, как говорит Калерия, есть обнадеживающие данные с ящерицами-гекконами. Может быть... может быть...

Но главное не в этом. Главное в том, что вчера я собственными глазами видел появление Мямлика. Калерия мне не поверила, а камеры я от удивления забыл включить. Знаешь, когда долго ждешь чего-то, уже сам в это не веришь. Значит, сидел я в лаборатории — Калерия куда-то умчалась — и думал, почистить ли мне клетку с лемурами или отрегулировать центрифугу — я же парень — золотые руки, не то что твой жгучий брюнет, который только и может, что доставать билеты на эстрадные концерты.

Смотрю на клетку и вижу: лемуrow не два, а три. Я даже вслух их пересчитал. Три. Шустрик на месте, Мямлик на месте, а кто еще? Еще один Мямлик! Клянусь тебе всем святым, клянусь моей к тебе любовью

(в которую ты не поверишь, потому что не способна на высокие чувства), что в клетке было два Мямлика.

Это продолжалось больше минуты. Оба смотрели на меня обалделыми глазами и оба ждали, когда я подкину им внеплановых червячков. А потом Мямлик номер два исчез. А Калерия закатила мне истерику, что я не зафиксировал феномен.

Сегодня мы с ней почти не разговариваем. Я не терплю в ней этих наполеоновских замашек. Ну ладно, я ее скоро прощу. Я великодушный. Ей тоже нелегко — мыши в будущее не хотят, лемуры не фиксируются, директор интригует, и я не очень дисциплинированный.

Тома, не забудь выслать мне свою пляжную фотографию в полный рост, я повешу ее у вытяжного шкафа на место портрета Брижит Бардо. Брюнету скажи, что его ждет за настойчивость от твоего верного друга А. Добряка. Что-то мне без тебя скучновато.

Саша.

7

21 ноября 1989 г., Москва

Дорогой Виктор Сергеевич!

Спасибо за поздравления. Понимаю, что они носят скорее всего поспрительный характер. Но все равно приятно было их получить. Что касается меня (и, по-моему, не только меня, но и тех, кто со мной работает), то основным чувством была пустота. Словно бежали за поездом. Прибежали, сели в вагон... а дальше что? Конечно, Вы улыбнетесь сейчас и скажете: «Дальше что? Дальше работать». Знаю я, что Вы скажете. К тому же из двух наших последних достижений первое — в общем, не наша заслуга, а Прозорова. Состав фактора-т определил он. Мы были только на подхвате. А вот что касается путешествия в будущее безымянной белой мыши, которой, как Вы уверяете, кто-то когда-то поставит памятник, то Прозоров здесь почти ни при чем. И все было так, как вы себе представили. Дело оказалось в точной дозировке и психологических стимуляторах (Ваша догадка). Мы ввели новую модификацию фактора-т всем двенадцати мышам, мы привлекли к работе нашего Ваську, которому уже давно надоело пугать этих ничтожных грызунов своим хищным видом, хотя делает он это неподражаемо... и, в общем, одна из двенадцати мышек исчезла. Спаслась от кота в будущее. Вот и все, можно ставить шампанское

на стол, но не стоит продолжать — продолжение ведет к разочарованию. С тех пор мы повторили опыт уже шесть раз, условия соблюдались точно — а мыши не исчезали. Так нам и надо. Нельзя было шумно радоваться и считать себя Ньютонами. А то недолго получить яблоком по макушке. Кстати, у нас малая беда — Васька погнался за беззащитным Мямликом и успел его догнать. Помял Мямлика, а Мямлик в отчаянии искусал Ваську (но не исчез). Васька сидит с распухшей мордой и не работает, прекрасная Тамара жалеет Ваську, беспутный Саня жалеет Мямлика — и это привело к глубокой ссоре в лаборатории. Что ж, будем работать дальше. Приезжайте, мы без Вас соскучились.

Лера.

8

27 декабря 1989 г., Москва

Дорогая Римма!

У нас столько дел, столько дел, что просто оптимистическая трагедия! Я думала, что я всего этого не переживу, но удивительно — пережила. Мой Саня был на грани физического исчезновения. Это какой-то ужас, а не человек. Знаешь, я читала в одном стихотворении, что некоторые врачи прививали себе чуму с трагическим исходом. Вот такой тип, оказывается, меня окружает.

Мне все объяснить тебе трудно, потому что ты, прости меня, в науке профанка. Но ты, наверное, помнишь, что мы выделяли фактор-т. Если этот фактор правильно употреблять, то можно отправляться в будущее. Правда, не наверняка. Лемуры это умеют делать сами, у них фактор-т прямо в крови от рождения остался, а вот других существ приходится прививать фактором, а потом еще пугать как следует. Для мышей у нас был кот Вася, но теперь сбежал, потому что ему скучно стало мышей пугать, но не есть. Потому у нас обезьяны появились, мартышки. С ними тоже не наверняка выходило. В общем, как говорит наша Калерия, наука — это не место для слабонервных. И она смертельно права.

А третьего дня у нас произошло интересное событие. В общем, наш Санечка устроил горячий спор с Калерией по поводу перспектив. Ему, понимаешь, в науке и в любви все хочется сразу. Он стал уговаривать Калерию, что пора переходить к опытам с людьми, с добровольцами. Калерия сначала смеялась, потому что впереди еще годы

и годы упорного труда, прежде чем можно к такому делу подступиться. Я тоже стала смеяться над Саней, и, наверно, этого не надо было делать. Он же такой самолюбивый. А потом мы все ушли домой, а он еще оставался в лаборатории и, оказывается, высчитывал дозу и, главное, искал себе эмоциональный фон (ты этого не понимаешь, а когда не понимаешь, пожалуйста, пропускай некоторые слова, мне некогда здесь тебе все объяснять). В общем, он умудрился истратить весь запас фактора-12. Двенадцать — это модификация фактора, не спрашивай, сама не все еще понимаю.

И вчера, часов в одиннадцать, когда в лаборатории было довольно много народа, Саня снова затеял спор с Калерисей. Начал говорить, что науку нельзя двигать вперед на одной только осторожности. А Калерия ему отвечает: «А если ты попадешь в будущее на сто лет вперед, а этого дома уже нет — ты и разобьешься?» А Саня ей говорит: «Ничего подобного, потому что природа мудрая, и она отправляет лемурув недалеко вперед и даже в хорошие условия, когда хищников вокруг нет». Но тут кто-то из лаборанток сказал, что Саню ничем не испугаешь. Как его в будущее отправлять, если его ничем не запугаешь? Саня на это улыбается, как Джоконда, и говорит мне: «Возьми у Васи для меня коробочку». Я его пожалела. Пошла к нашему слесарю, дяде Васе, спрашиваю, есть ли коробочка для Сани? А он смеется и передает мне коробочку и еще говорит, неси ее осторожно, мне за нее Саня пять рублей заплатил. И не подумай открывать. А я и не думала. Прибежала обратно и говорю Сане: «Вот твоя коробочка». А Саня тогда говорит нам: «Внимание». Потом достает из своей спортивной сумки мотоциклетную каску. Представляешь, он все уже рассчитал, а мы и не подозревали. Достает и говорит: «Тамара, дорогая! (Вообще-то я этого обращения не терплю, но был какой-то торжественный момент, даже не передать словами.) Открой коробочку, которую тебе передал дядя Вася».

И я, как сомпамбула (это такое насекомое), подошла к нему поближе и почувствовала дрожание в его теле.

«Открывай!» — закричал Саня. Я открыла, и из коробочки выскочили сразу три больших черных таракана. Я страшно возмутилась. Такую гадкую шутку совершить надо мной непозволительно. Я бросила коробку на пол и сказала: «Я тебе этого никогда не прощу». Но никакого ответа! Сани в комнате нет! Все кричат: «Ах! Что

случилось?» А Калерия говорит, довольно тихо: «Никогда не думала, что мужчина может так бояться тараканов, чтобы сбежать от них в будущее». Я ей отвечаю: «Не говорите так про Саню! Он это сделал ради науки». А Калерия отвечает: «Я и не хотела сказать плохо о Сани. Если он так боится тараканов, значит, он вдвойне мужественный человек, что пошел ради эксперимента в такую адскую муку. Он теперь мученик науки». Так и сказала: Саня — мученик науки.

И тут мы очистили место посреди лаборатории и стали ждать, когда Саня вернется. Я тихонько плакала, потому что боялась, что с ним что-нибудь случится, а потому он не вернется. Одна белая мышь у нас ушла в будущее и не вернулась. Но я не успела как следует заплакаться, а он уже вернулся. Но в странном виде. Он вернулся мрачный и даже не улыбался, когда его стали поздравлять. Калерия сказала, что выговор он себе обеспечил. Но я возмутилась, бросилась к Сани, стала его утешать, говорить, что он мученик науки. Но Саня не стал со мной даже разговаривать, только поглядел на меня печально, и я тут увидела, о ужас! — ты представляешь, у него на щеке страшная ссадина! «Ты ударился?» — испугалась я. «Нет, — отвечает Саня, поворачивается к Калерии и говорит: — Я готов понести заслуженное наказание». Калерия позвонила Прозорову, еще другие приехали, и теперь наш Саня сидит, обмотанный проводами, весь в датчиках, как космическая собака Лайка, его измеряют и исследуют. Все обошлось, только он не хочет рассказывать, что он там, в будущем, видел. И, самое ужасное, совершенно не хочет со мной разговаривать. Как будто он южноафриканский расист, а я угнетенная негритянка. Конечно, если бы он не был таким героем, я бы никогда не стала из-за этого расстраиваться. У Сани совершенно страшная ссадина, и я трепещу, что он схватит заражение крови. Жди дальнейших писем, с наступающим Новым годом.

Твоя убитая обстоятельствами подруга
Тамара.

9

16 июля 1990 г., Москва

Дорогой мой Виктор Сергеевич!

Я бы не стала писать Вам — никаких экстраординарных событий в нашей науке не произошло. Мы гоним

мартышек и мышей в будущее, по никак не можем (а когда сможем?) регулировать продолжительность путешествия, да и сам факт его. То ли будет, то ли нет. Журналистов держим на почтительном расстоянии... и надеемся.

Но у меня есть одна любопытная для Вас новость. Может быть, улыбнетесь.

Помните, полгода назад Саня Добряк совершил полезный для науки, но авантюристический поступок, который стоил мне массы нервов и объяснительных записок.

В путешествии Добряка было две тайны. Первая — сильная ссадина на щеке, о которой Добряк никому не сказал ни слова. Если он ударился о шкаф, причин скрывать это не было. Вторая тайна заключалась в резком изменении отношения к Тамаре. Он буквально перестал ее замечать, даже отворачивался, когда она робко приближалась к нему, протягивая кошачьи лапки. И это не было трезвым расчетом соблазнителя — Саня на расчеты не способен. Что касается Тамары, то она тут же смертельно влюбилась в Саню, и чем холоднее он казался, тем горячее билось ее сердце.

Все эти тайны разрешились вчера.

Мы поздно засиделись в лаборатории. Шел дождь, было сумрачно, грустно, темнело. Я что-то считала на калькуляторе, Саня кормил наших зверей, прежде чем откатить клетку в виварий. Он никому не доверяет лемуров. Вошла Тамара. Она бросила на меня мимолетный взгляд, но, по-моему, меня не заметила. Подошла к Сане твердой походкой человека, решившегося лететь в космос. «Саня, — сказала она, — мне нужно сказать тебе несколько слов». — «Я вас слушаю», — сказал Саня, глядя в клетку. «Саня, между нами возникла какая-то трагедия, — сказала Тамара. — Я прошу объяснения». — «Не получите», — сказал Саня. — «Нам не о чем говорить». — «Ты меня больше не любишь?» — спросила Тамара. «Я хотел бы любить», — ответил Саня, — но не терплю соперников». — «У тебя нет соперников», — сказала Тамара и вдруг зарыдала. Девочка так долго готовилась к решающему разговору, что, видно, нервы у нее были на пределе. «Не верю», — сказал неприступный Саня. «Но кто он?» — спросила Тамара. «Не знаю», — сказал Саня, — но я его видел». — «Когда?» — рыдала Тамара. — «Если ты имеешь в виду того грузина в Сухуми, то это даже нельзя назвать чувством, а если это Иерихонский из управления кадров, то тебе просто насплетничали». — «Нет», — сказал Саня. — Это был кто-то другой. Я ви-

дел, как вы обнимались с ним, когда путешествовал в будущее». — «Ах! — воскликнула Тамара. — Значит, этого еще не было?» — «Неважно», — сказал Саня. «Но я клянусь тебе, что люблю только тебя! — сказала Тамара. — Я никому никогда не говорила таких немислимых слов!» — «Какие у тебя доказательства?» — спросил холодный Саня. Мне даже стало жалко девочку. Она, наверное, в самом деле никому не признавалась в любви — просто не успевала, за нее это слишком быстро делали поклонники. «У меня есть доказательства, — воскликнула наша красавица. — Я согласна завтра же пойти с тобой в загс. Ты хочешь на мне жениться, ну скажи, хочешь? Или посмеешь отказаться?» Последние слова Тамары прозвучали как трагический монолог, рассчитанный на то, чтобы его услышали на галерке. Я даже обернулась к ним, чтобы попросить снизить тон и не привлекать внимания случайных прохожих на улице. Но ничего не сказала, потому что вместо двух силуэтов увидела один — Тамара бросилась в объятия Сани, и тот не устоял перед такой фронтальной атакой.

И в тот же момент от двери раздался страшный вопль: «Не смей! Я ее люблю!» И еще один Саня Добряк бросился с кулаками на своего двойника.

И все стало на свои места. Надо же было Сане во время его путешествия в будущее паткнуться на самого себя, целующего Тамару, притом в полутемной лаборатории. Понятное дело — Тамару он узнал, он привык смотреть на нее со стороны. Себя он не узнал, потому что не привык смотреть на себя со стороны.

Видно, все это понял и Саня. Тот Саня, что целовался с Тамарой. Он отстранил свою возлюбленную и выставил вперед руку. Саня — путешественник во времени врезался скулой в кулак Сани — счастливого возлюбленного, схватился за щеку и исчез.

Саня ходит гоголем, улыбка не слезает с его физиономии, и всем, кто прослышал из уст Тамарочки о драке Сани с Саней, говорит: «Ты бы видел, с каким наслаждением я врезал в глаз этому пошлому ревнивцу!»

Как бы Митрофанов не вызвал Саню к себе прочесть ему нотацию о недопустимости рукоприкладства в нашем передовом научном учреждении.

Вот и все.

Мы без вас скучаем.

Хотите слетать в будущее?

Ваша Лера.

КОМУ ЭТО НУЖНО?

— И кому это нужно? — спросил вежливо Николай, держа в широких ладонях зажженную спичку, чтобы я могла прикурить.

С Волги тянуло свежестью, из-за леса выполз, в ожерельях огней, пароход. С него доносилась музыка, одинокая пара танцоров нежно покачивалась под тентом на корме.

— В первую очередь науке, — ответила я. Ответ был глуп, но лучшего я не придумала. Ничего не нужно просто науке. Наука — это один из способов нашего общения с миром, наравне с поэзией. Следовательно... но эту мысль я развивать не стала. Николаю приятен был сам факт беседы со мной, ученой женщиной из Москвы. Из клуба шли соседи, только что кончилось кино. Проходя мимо нашей лавочки, они присматривались, некоторые здоровались с нами. Вот это было Николаю приятно.

— Науке, разумеется, нужно, — сказал Николай.

«Любопытно», — подумала я. Когда-то я прожила в этой деревне три года, ходила здесь в школу и была немного влюблена в Николая, он был старше меня лет на десять, уже вернулся из армии и работал шофером. Прошло двадцать лет, и я стала совсем взрослой, вернулась на неделю к себе в деревню, потому что некуда больше было сбежать из Москвы, и оказалось, что Николай куда моложе меня. И не только потому, что он почти не изменился, даже не женился. Главное — он с первых минут, как я вошла в дом к бабе Глаше, признал мое старшинство. А я приняла это признание как должное.

— И все-таки, — сказал Николай, стараясь говорить научно. — Должны быть практические применения. Иначе вам денег платить не будут.

— Было практическое применение, — сказала я. — Будут и другие.

— Расскажи.

Я рассказала Николаю, кратко, не в силах передать неловкого ощущения провалившегося фокуса, о той сессии в Пушкинском музее. Зал был неполон, но это ни-

чего не значило, потому что сливки пушкинского мира были налицо. Саня Добряк, мой ассистент, торжественно палаживал аппаратуру, а мне все казалось, что я одета неподходяще для такого торжественного случая. По физиономии Добряка я понимала, что волнуюсь — он очень чуток к моим настроениям. Мне остро не хватало черного фрака с розой в петлице. Зрители глядели на меня доброжелательно, но с некоторой скукой во взорах. Если я по ходу речи вперяла в кого-нибудь из них свой взор, моя жертва покорно начинала кивать головой, демонстративно соглашаясь с каждым моим словом. Я постаралась обойтись без формул и технических подробностей, я просто объяснила, что почерк человека так же индивидуален, как отпечатки пальцев, что в работах графологов, хоть их и принято обвинять в шарлатанстве (не без оснований), есть зерно истины — почерк связан с характером человека, душевным состоянием, воспитанием и так далее. Я рассказала о том, как мы получили заказ от криминалистов — заказ на первый взгляд фантастический, но не настолько уж фантастический в самом деле. Смысл его заключался в том, что если почерк и в самом деле совершенно индивидуален, нельзя ли отыскать соответствия между ним и, скажем, внешностью человека. Я призналась уважаемой аудитории, что на настоящем этапе этой цели нам добиться не удалось, хотя мы не теряем надежды. При этих словах я нечаянно кинула взгляд на Добряка и обнаружила, что мой молодой друг изобразил на лице полную уверенность в успехе наших трудов и старается, гипнотизируя зал, убедить в этом аудиторию.

Покончив с общей частью, я поведала пушкинистам суть наших достижений: нам удалось, худо-бедно, нащупать связь между почерком и голосом человека. Мы понимаем, что до окончательной победы еще далеко, но так как литературоведы, прознав о нашей работе, обратились к нам с просьбой продемонстрировать ее, то вот мы явились к уважаемым специалистам, чтобы они проверили, убедились и так далее.

Когда я закончила, пушкинисты зашевелились, закашляли, а я, поддавшись тщеславию, предложила желающим выбрать любой из текстов, написанных рукой великого поэта, для демонстрации. Фотокопии текстов лежали на столе, мы старательно выбирали черновики без правки.

После минутной заминки из первого ряда поднялся

старик вальяжной внешности, наклонился над столом, вытащил из кипы один из текстов, и я поняла, что он робеет, как студент, достающий на экзамене билет. Старик пошевелил губами, читая текст, затем кивнул и сказал вслух:

— Подойдет.

Саня ловко соскочил со сцены, принял текст и передал мне. Он предоставлял мне честь самой нажать кнопку.

Я вложила листок в сканирующую рамку, настроила динамик, нажала нужные кнопки — сейчас у меня из рукава вылетит голубь.

Аппарат наш, далекий от совершенства, поднатужился и чуть хриплым, быстрым, высоким голосом, как-то равнодушно и неодушевленно, принялся читать стихи. Пушкинисты слушали внимательно, склонив головы в разные стороны, и, по-моему, всем своим видом старались убедить меня, что им уже приходилось слушать голос Пушкина, хотя могу поклясться, что среди них не было ни одного человека старше ста пятидесяти лет.

Закончив строфу, великий поэт вздохнул и замолк.

Пушкинисты переглянулись, размышляя, аплодировать или нет. Я понимала сложность их положения. Если им показали научный эксперимент, то хлопать не положено. Если же это был просто фокус, можно и ударить в ладоши.

В результате кто-то из них неуверенно хлопнул, затем другой, третий — и с облегчением зал наградил нас с Саней жидкими аплодисментами.

Затем нас тепло поблагодарили, сообщили, что наше достижение открывает перспективы, и пожелали дальнейших успехов. Выполнив свой долг, пушкинисты разошлись по домам трактовать неопубликованные строки великого поэта. А мы с Саней собрали аппаратуру и поехали обратно в лабораторию.

По дороге я произнесла небольшой монолог, призванный утешить Саню, а может, и меня саму. Я сказала, что специалисты, перед которыми мы сейчас выступали, привыкли считать себя монополистами в любой области знания, причастной к Пушкину. То, чего они не могут, они отвергают как неужное. Голос Пушкина им не нужен. Они не могут извлечь из него пользы для пушкинистики...

Я была несправедлива к специалистам, но не могла справиться с обидой. Лучше бы они обошлись без аплодисментов, а задавали вопросы.

Вот все это я и рассказала Николаю.

— Ничего, Лера, — утешил он меня. — Скоро и лица научишься по руке угадывать. Тогда милиция тебе спасибо скажет. Только не ошибись, а то невинного привлечете.

— Спасибо, — сказала я. — Комаров сегодня много. Пошли домой.

Баба Глаша ждала нас пить чай. Мы больше не говорили о науке. Тетя Глаша словоохотлива и не терпит конкуренции.

Через час Николай ушел к себе, а я легла спать за занавеску, привычно глядя на стенку, густо увешанную репродукциями из журналов и многочисленными семейными фотографиями, бурными от старости, с лицами, в основном неразборчивыми и одинаковыми, — вот умрет баба Глаша, и никто уже не будет знать, кто эти люди, строго глядящие вперед. И они умрут как бы еще раз в людской памяти.

Правда, кое-кого из них я знала. Вот моя мама, двоюродная сестра бабы Глаши, она сидит на коленях у моей бабушки. Такая же фотография есть у меня в альбоме. А вот Антон — Глашин муж, он погиб на фронте. Он в разных видах: молодой, курчавый, голова к голове с бабой Глашей — это их свадебная фотография. Вот он, облысевший и худой в военной форме начала войны. Последний снимок...

— Я свет тушу, — сказала баба Глаша. — Ты не возражаешь?

— Тушите, — сказала я. — Спокойной ночи.

Баба Глаша долго ворочалась, вздыхала.

— Не спится? — спросила я.

— Не спится, — призналась баба Глаша. — Мне много сна не надо. Если б не ты, я бы пошла немного.

— Мне свет не мешает, вы же знаете.

— Порядок нужен. Я вот сколько лет одна живу, а все не привыкну. При Антоне у нас порядок был. Ложились по часам, вставали тоже. Я по молодости ворчала, а теперь понимаю, прав он был.

— Приезжайте к нам в Москву, мы всегда рады будем. А то все обещаете, а никак не соберетесь.

— Как-нибудь соберусь. Сколько лет с места не трогалась. Чувство у меня есть, ты знаешь.

Я знала. Все у нас в семье знали, и в деревне все знали. Антон пропал без вести. Похоронки на него баба Глаша так и не получила. Вот и казалось ей, рассудку вопреки, что он, может, еще вернется. Она никуда из деревни не уезжала, даже дом никогда не запирала. И не уходила из дому, не оставив еды в печи и свежей заварки в чайнике — Антон был большим ценителем чая. И не поедет баба Глаша в Москву — никогда, до конца дней, не покинет своего поста... Потом я заснула.

Утром проснулась и первое, что увидела, открыв глаза, веселый взгляд курчавого Антона на свадебной фотографии. И его же, другой, усталый взгляд на фотографии военной. И подумала, что погиб он, когда был мне ровесником. И с тех пор прошло куда больше лет, чем он прожил.

Баба Глаша готовила, слышала, что я встаю, сразу начала собирать на стол. Я прошла в сени умыться. И оттуда, приоткрыв дверь, спросила:

- Баба Глаша, у тебя письма Антона сохранились?
- Какие письма?
- Ну писал он тебе, с фронта, например?
- Два письма были. И все, как отрезало.
- Досташь.
- Зачем тебе?
- Нужно.

Мы сделали голос Антона. Голос оказался низким, строгим и очень усталым. Потом Саня Добряк записал его на пластинку — у бабы Глаши есть проигрыватель.

Через месяц я получила письмо от Николая. Я вынула его из ящика, спеша на работу, и прочла уже в лаборатории.

«Дорогая Калерия!

Кланяется тебе известный Николай Семенов. Все собрался тебе раньше написать, да дел много и писать было нечего. У нас все по-прежнему, только вот твоя пластинка произвела сильное впечатление. Глафира вторую неделю не просыхает, слезы льет, говорит, что ты ей жизнь вернула. Боюсь, заиграет она пластинку — готовь повую. Она теперь как алкоголик, может, и зря ты ей такой подарок сделала...»

Дочитать я не успела. Пришел вальяжный старик, в котором я узнала пушкиниста, выбравшего для прослу-

пивания текст поэта. У пушкиниста была светлая идея, которая привела Добряка в восторг. Он принес с собой совершенно перечеркнутый черновик Пушкина, в котором вот уже сто лет специалисты стараются угадать две строчки. Пушкинист решил попробовать зачеркнутые строчки на нашей машине — а вдруг произнесет их вслух великий поэт и мы догадаемся.

Я не очень верила в успех, но спорить не стала. Саня Добряк принялся готовить аппаратуру, а я дочитала письмо.

«...Просила она тебе привет передавать, обещает в Москву приехать, только, наверно, обманет. И вот ее точные слова: «Как по телефону, ну точно как по телефону». Это она про голос Антона. Помнишь, я тебе вопрос задавал — кому это нужно? Теперь получил я наглядный пример и беру свои слова обратно. Даже сам к тебе имею просьбу: сделай пластинку для меня. Маленькую. Записку к пластинке прилагаю. Записка эта пролежала у меня двадцать лет. Остаюсь

С уважением, Николай».

Я развернула пожелтевшую записку, испещренную круглыми еще, детскими буквами. «Коля, — было написано там, — тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Калерия Петровна, — сказал пушкинист. — Вы только послушайте!

Только тогда я догадалась, что аппарат работает и знакомый мне голос Пушкина то взметывается почти фальцетом, то пропадает, зачеркнутый в черновике.

— Только послушайте!

— Еще раз? — спросил Добряк.

— Разумеется. Хотя нет никакого сомнения, что вторая строка начинается со слов — «тихий гений». И спорить бессмысленно. Он же лично подтверждает!

А когда ошарашенный пушкинист ушел, я обратилась к гордому победой Добряку:

— Прокрути эту записку.

— Тоже Пушкин? — не глядя на записку, спросил Добряк.

— Нет, — сказала я.

Все еще переживая победу над спесивой пушкинисткой, Саня включил машину.

«Коля, — раздался детский голос, дрожащий от

слез. — Тебе кажется, что я еще слишком молодая, чтобы ты обращал на меня внимание. Это не так...»

— Что еще такое! — воскликнул Добряк. — Что за детский сад? Что за любовный бред?

— Ладно, — засмеялась я. — Давай записку обратно. Но в будущем не советую оскорблять любимую начальницу. Учти, что она не всегда была взрослой.

— Чтобы вы? Так? Унижались перед мужчиной!

Добряк был в гневе.

— Мне было пятнадцать лет, — сказала я виновато. — А он был настоящим шофером.

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

— У меня лично, — сказал лаборант Саня Добряк, подходя к зеркалу полюбоваться первыми в жизни усами, — у меня лично нет никакой уверенности.

— Ну и слава богу, — сказала Лера. — Был бы ты, Саня, во всем уверен, наука бы остановилась.

— Правильно, — согласился Саня. — Меня держат в науке для сомнений. Представьте себе, что у Гойи был слуга. Готовил ему холсты и натягивал на подрамники. Вот молекулярная собака и берет его след. Реально?

— Реально. Ты же знаешь, что мы взяли полотна с промежутком в двадцать пять лет. И комплекс совпал.

— Слуга всю жизнь натягивал холсты.

— А Гойя до них не дотрагивался?

— Гойя, как настоящий сеньор, не снимал перчаток.

Вы сегодня пойдете?

— Куда?

— Не притворяйтесь, Калерия Петровна. Зачем прическу сделали?

— Ты о вечере встречи?

— В ресторане собираетесь?

— В ресторане.

— Счастливая вы женщина, Калерия Петровна. Работаете со мной, а после работы ходите в рестораны с другими. Жду не дождусь, когда пройдет двадцать лет со дня, как я окончил школу.

— Зачем торопиться?

— Стану я к тому времени скромным доктором наук. Приду к своим сверстникам. Один — шофер, другой — официант, третий — в младших лейтенантах застрял. А ты кто, Саня Добряк, спрашивают меня? Ты же в школе посредственно учился. А я отвечаю — служу доктором наук в Институте Экспертизы под началом академика Калерии Данилевской.

— Остановись, несчастный, не мешай работать. Ты сначала заверши высшее образование и научись правильно писать слово «ассоциация».

— А я неправильно его написал?

— Через одно «с».

— Опечатка. Не обращайтесь внимания. А много там ваших собирается?

— Много.

— А вы их давно не видели?

— Кого как. Некоторых со школы. Помолчи немного.

Саня помялся немного, придумывая себе дело, хотя было достаточно настоящих, которыми давно бы следовало заняться.

— А вы в классе кого-нибудь любили? — спросил он как раз в тот момент, когда Лера решила, что он утомился.

— Любила.

— И я, — сказал Добряк. — Только безответно. А вы его потом встречали?

— Я вышла за него замуж.

— Ложь. Женская ложь. Ваш супруг, простите, мне известен. Вы с ним в институте познакомились. Его зовут Олегом.

— Ты уличил меня, Саня. Нет, после школы мы не виделись.

...Лариса Ривкина зря придумала проводить вечер встречи в ресторане. Она почему-то решила, что все тут же сбегутся, движимые сентиментальными воспоминаниями. Звонили по цепочке, кто кого видит, почти всех нашли, все согласились прийти. А пришло только семнадцать человек. Отлично бы уместились у той же Ларисы, живет одна в двухкомнатной квартире.

Лера опоздала почти на час, пришлось посетить профсоюзное собрание. На собрании она старалась слушать оратора из кассы взаимопомощи, там назревал скандал, а думала о том, что молекулярная собака упорно отказывается брать комплекс Ташеева. Почти наверняка — Ташеев, а идет совершенно незнакомый комплекс. Липатов уверяет, что это — Скрыбин. Ну при чем тут Скрыбин? Явная подделка. Она рассуждала о неудачном комплексе, чтобы не думать, придет ли на вечер Иван. Лучше бы не приходил, хотя она знала, что без него вообще пропадет смысл этого вечера.

Друзья детства сидели за длинным, неудобно, чуть ли не посреди зала стоявшим столом. Тридцать мест, шестнадцать человек. При виде Леры поднялся шум, даже неловко было идти через зал, от других столов оборачивались — то ли кинозвезда, то ли обретенная родственница.

За столом все ощущали себя родственниками, за двадцать лет забыли, кто был ябедой, кто трусом, готовы были простить жизненные неудачи и даже успехи.

Лариса кричала громче всех:

— Сюда, Лерка, ко мне, тут место есть!

Лера послушно уселась рядом, хотя меньше всего хотела бы провести вечер между Ларисой и Махоньковым. Ларису она и без того видела трижды в неделю, а в промежутках выслушивала по телефону подробные описания сердечных неудач. Махоньков раздобыл, поверх крепкого живота галстук в зигзагах, только что из Сенегала, и «Волгу» купил, импортный вариант.

Задержанная соседями Лера не сразу увидела Ивана. Хотя сидел он почти напротив. Стоял шум, что возникает после третьей рюмки. Раздражала отчужденность длинного ресторанный стола, где приходится кричать и ловить выкрики, иначе ты обречен весь вечер выслушивать лихорадочный шепот Ларисы, потому что Он ее бросил, вернее, не бросил, но вчера не позвонил, вернее, позволил, но говорил таким голосом... а как ты думаешь, может, Его жена была рядом и Он вынужден был говорить таким голосом? Тут же Махоньков отечески трогает за коленку и сообщает, что «у нас в Сенегале убийственный климат»... Ах, у вас в Сенегале климат! Очень приятно.

Субботин — он всегда был такой худенький, нечесаный, любил только литературу, а занимается автоматическими системами и растолстел. А рядом Войтинский, майор. Неужели столько времени прошло, что Войтинский стал майором? Майор в тридцать семь, когда же он станет генералом? Иван встретился с Лерой взглядом и неуверенно улыбнулся, словно они расстались вчера. Он совсем не изменился, только отпустил длинные волосы. Ему совершенно не идут длинные волосы. Будь я его жена, никогда бы не позволила... Лера попыталась мысленно помепять Ивана и Войтинского одеждой. Как Ивану майорские погоны?

— Ты меня не слушаешь? — Лариса дернула ее за рукав.

— Ну, мальчишки-девочки, — громко сказал Войтинский. — Вот мы и встретились после долгого перерыва. Кое-кто возмужал, я — в первую очередь (общий смех), кое-кто расцвел — то есть все наши девчата без исключения...

Махоньков наклонился к Лере:

— Ну а ты чем занимаешься?

Лере показалось, что Иван прислушивается.

— Работаю, — сказала она. — В НИИ экспертизы.

— Защитилась?

Жизненные блага в понимании Махонькова должны были выражаться в упорядоченных ступеньках, где каждое занятие имело свой чин.

— Да.

— И над чем конкретно сейчас трудишься?

— Определяю Гойю.

— В смысле?

— В смысле Гойя это или не Гойя.

— Гойя — художник? Испанский?

— Ты проницателен, Махоньков. Именно так.

— Значит, ты искусствовед.

Это не было вопросом. Это было утверждением.

— Нет. Я химик.

— Ясно, по краскам.

— Не совсем так.

И зачем Ивану длинные волосы? Ударник в оркестре, как бы пробуя, не ослабла ли кожа барабана, выбил дробь. Оркестранты в оранжевых пиджаках поднимались, докуривая, на эстраду. В последний раз они встретились на вечеру у нее в институте. Иван приходил туда как свой — официальный жених. В тот вечер Иван стоял с Олегом, разговаривали. Лера представила себе, какие чувства бурлили в груди Олега. Милый Ваня, ты не подозревал, какую змею лелеешь на груди. Интересно спросить, помнит ли, о чем они тогда разговаривали, как он доверчиво делился с Олегом своими проблемами? А потом заиграл оркестр, свой, институтский. Иван пригласил ее. Он был рассеян и огорчен. А может быть, ей теперь кажется, что он был огорчен... Извинился, сказал, что спешит домой, мама больна, простудилась и у нее высокая температура. Тебя Олег проводит, он обещал. Так и сказал. Его забота распространялась на нее даже тогда, когда самого его рядом не было. Странно, но они никак не могли собраться и назначить срок свадьбы. Как будто все уже было решено и утверждено где-то в очень высоких инстанциях, даже родители давно смирились уже с тем, что иного пути у нее нет. Она сама слышала, мать говорила соседке: «Когда Лерочка выйдет за Ивана, мы переедем в маленькую комнату. Им же надо заниматься». Жизнь с Иваном была так же понятна и неизбежна, как приход весны и экзаменационной сессии.

— Ты не будешь пить, — сказал Махоньков, —

и я не буду пить, то получится, что мы зря выкинули деньги.

— Не хочется.

— А мне хочется, но я не могу. За рулем, понимаешь?

Оркестр наконец собрался с силами и затянул нечто страстное, древнее и тягучее. Из эпохи маминой юности. Ресторан утверждал, что он респектабелен. Интересно, хватит ли у Ивана смелости пригласить ее? Пускай приглашает. Все это — далекое прошлое.

Когда она сказала Олегу, что придет поздно — вечер встречи, он только пожал плечами и спросил: «Лариса устроила?» Словно в вечере встречи было нечто постыдное. Олег Ларису не любит — формально за глупость, легкомыслие (ты могла бы выбрать себе подругу поумнее!), но подруг не выбирают — это стихийное бедствие. В самом деле Олег не любит ничего, связанного с прошлым Леры.

Махоньков спросил:

— Ты будешь танцевать?

— С удовольствием.

Оркестр как раз завершил первую скорбную песню. Они проталкивались сквозь толпу возвращавшихся после танца к столикам. Стоило бы подождать, но Махоньков, видно, решил, что любое промедление приведет к тому, что Леру пригласит прекрасный Войтинский или Иван. Лучше увести ее и придержать до нужного момента в изоляции.

— Ты с Иваном встречаешься? — спросил он.

— Нет.

— А я всегда к нему ревновал.

— Почему?

— Потому что был в тебя влюблен.

— Ты? Я никогда не догадывалась. Ты отлично умел скрывать свои чувства.

— Ты на меня и не смотрела. Я был ниже тебя ростом.

Лера хотела сказать, что он с тех пор не очень подросток. Но тут оркестр грянул торжественное танго.

Махоньков повлек Леру в круг. Иван танцевал с Риммой Прахиной. Почему Лера не заметила ее за столом? Римма помахала коротенькой ручкой. Совсем близко Лера увидела руку Ивана на спине Риммы. Сколько раз он танцевал с ней, обнимал ее — она всей шкурой помнила ощущение его ладони на спине, а никогда не видела, как это выглядит со стороны. Его рука на ее спине...

Выполняя просьбу Ивана, Олег тогда проводил Леру до дома. Олег был на нее обижен. Из излишней гордыни. Никак не мог забрать в голову, что все его научные и умственные преимущества, все его светлые перспективы и даже квартира ничего не стоят. Что ж будешь делать, если есть на свете Иван. Не убивать же его. Конечно, Олег хороший человек, милый друг, послушный поклонник — все что угодно. Но ведь есть Иван.

— Грустно Ивану, — сказал тогда Олег.

Была холодная весна пятого курса, Олег дрожал в модной кожаной куртке.

— Почему? — спросила Лера, думая о чем-то совершенно постороннем. Может, даже об экзаменах.

— Настроение плохое.

— А, знаю. У него мама разболелась. Я завтра к ней зайду.

— Не заходи, — сказал Олег. — Не нужно этого делать.

— Ты о чем?

— Не в матери дело.

— Что еще за загадки?

— Он просил меня об этом не говорить.

— Мне?

— Тебе в том числе. И я не могу изменить своему слову.

— Ты с ума сошел. Чтобы Иван...

— Я бы на твоем месте тоже не стал спрашивать.

Вот таких указаний Лера не терпела.

— Слушай, кто тебе дал право...

— погоди. Бывают такие ситуации, которыми мужчина может поделиться с женщиной, а женщине, даже близкой, ничего не может сказать.

— Не бывают.

— Это связано с одной девушкой. Ты ее не знаешь...

— Как так не знаю?

— Не беспокой его. Он сам отыщет какой-нибудь предлог, чтобы не видеться с тобой. Не сердись... постарайся его понять...

Лера смахнула с себя слова Олега, как щенок отряхивает воду, вылезая из речки. Это теперь, с высоты жизненного опыта, Лера убедилась в том, что даже самая горячая любовь не обязательно длится десятилетиями. А любовь школьная, да еще с шестилетним стажем, чаще всего оказывается непрочной и даже смешной, когда партнеры подрастут и опомнятся.

Она пришла домой, сразу позвонила Ивану. Не потому, что трепетала перед соперницами, — надо было спросить, как мама.

— Маме лучше. Слушай, Галерия, неожиданно получилось, что я сегодня ночью уезжаю в Ленинград. Дня на три-четыре. Звонил Витебский, меня ставят на игру. Чего же не поздравляешь?

— Мог раньше сказать.

— Хотел тебе сделать сюрприз. Попимаешь, до последнего момента все было фифти-фифти. Могли взять, могли оставить. Похвастался бы, остался дома, куда денешься от твоих насмешек?

— А Олегу говорил, что уезжаешь?

— Он проболтался?

— Он о многом проболтался. Не понимаю, почему ты избрал его исповедником. Меня тебе мало?

— Не со всеми проблемами обратишься к женщине. Тебе этого не понять.

— Раньше понимала.

И тут она на него жутко разозлилась. Она все еще не верила Олегу, конечно, не верила. Но совпадение налицо — не успела прийти домой, а он уже избегает с пей встреч. Наверно, она бы вела себя иначе, не будь все у них так хорошо установлено, утрясено, согласовано. Словно плыли по течению. И первый же камень мог пустить эту лодочку ко дну. Никакого иммунитета против неожиданностей.

— Ты придешь меня проводить? — спросил Иван.

— Еще чего не хватало!

Она бросила трубку. Он позвонил снова, она сказала, не дожидаясь, пока он откроет рот: «Я спать хочу», — и снова повесила. Все. Вот и ссора. Что там Олег бормотал о другой девушке? Чепуха какая-то. У кого угодно, только не у Ивана. Как будто Иван был застрахован. Два метра росту да метр в плечах — и застрахован?!

А потом на следующий же день — лавины всегда срываются неожиданно — и потом режут, несутся, набирая скорость, пока не погребут под собой жалкую деревушку со спящими жителями — Олег передал ей письмо от Ивана.

— Он попросил меня заехать к нему перед отъездом и отдал вот это. Я не распечатывал.

— Еще чего не хватало, — сказала Лера и выхватила конверт.

В нем наверняка три страницы раскаяний, плохое стихотворение о том, что Ване не спится, и надежды на лучшее будущее. Ведь бывали же ссоры. И всегда кончались вот так. И что еще за манера доверять свои чувства машинке? Иван считал, что этим проявляет уважение к адресатам, которым не приходится расшифровывать его каракули. Джульетта померла бы на месте, получив машинописное послание от своего Ромео.

Лера отошла в сторону и разорвала конверт. Она не собиралась сразу читать это письмо. Тем более что Олег ошивался по соседству. Но уж очень зла была на Ивана, и его раскаяние требовалось для внутреннего успокоения.

«Лерка, дорогая!

Я хотел тебе все сказать по телефону, но не решился. Я тебя давно знаю и люблю, ты мне ближе и дороже сестры. И то, что случилось между мной и Верой, — ты ее не знаешь и это неважно, наверно, объясняется страстью, которая нас охватила...»

Это шло на целую страницу, и у Леры не затуманивались глаза, не падало сердце, она читала это письмо спокойно, словно оно не имело к ней никакого отношения. Ах, у них будет ребенок! Это очень трогательно. Надо будет обязательно послать им на свадьбу подарочек... И эти идиотские слова в конце — типичные для современного мужчины:

«Я не уверен, что смогу совладать с собой. Я сделаю все, чтобы расстаться с Верой. Клянусь тебе, все! Я вернусь к тебе. Как только я приеду из Ленинграда, я позвоню. Если бы ты поняла и простила меня...»

Ах, подлец!

Господи, как трудно было потом, когда, опомнившись, раскаявшись, Иван штурмовал ее, словно крепость Баязет, слал письма, звонил, подсылал друзей, ждал под окнами. Пришлось обо всем рассказать маме, мама — каменная глухая стена. Она принимала удары стенобитных орудий...

Лера поймала себя на том, что думает о прошлом слишком легкомысленно. Какие там стенобитные орудия... Удивительно, что она защитила диплом. Все люди собственники — женщины вдвойне.

Она вдруг сообразила, что оркестр играет уже совсем иной танец и она скачет отдельно от Махонькова, кото-

рый плавно проводит ручками и делает погами дрыгающие движения, как посмотрелся в своем Сенегале.

— Я устала, — сказала она Махонькову, остановившись.

— Ну что ты, давай плясать через такт, — джентльменски предложил тот.

Лера уже повернулась и шла обратно, к столу. За столом поредело. Кто-то убежал домой, другие танцевали. Перед ее стулом стыла киевская котлета. Сразу возникла трезвая и не относящаяся к торжеству мысль, не забыли ли ее мужики достать котлеты из холодильника? А там со среды осталась половина торта. Они сожрут торт, а она хотела его вообще выбросить — три дня, хоть и в холодильнике, — может, крем уже испортился.

Войтинский пытался запеть песню, которую они любили в десятом классе и которая, как им тогда казалось, останется в любимых навсегда. Кроме кругленькой Риммы, никто его не поддержал. Нет, вот и Махоньков начал послушно раскрывать рот.

— Ты не будешь танцевать? — спросил Иван, останавливаясь за спиной.

Словно она рухнула в холодную пропасть. Ну, казалось бы, соученик, милый человек, пригласил ее танцевать. Не обманывай себя, Лерочка, никуда тебе от этого не деться. Ты же шла сюда и знала, что это случится. Тебя тянуло, как убийцу на место преступления.

Она поднялась медленно, словно в стуле был магнит, послушно повернулась к Ивану и протянула ему руки, собиравшись начать танец прямо здесь, у стола. Танцевать у стола было негде, и Иван повел ее к оркестру. Все эти тридцать или сорок шагов она боролась с собой, как пустынный человек с бесом. И тут же новое счастье. Или несчастье: оркестр грянул последний аккорд именно в тот момент, когда Иван положил ей руку на плечо.

— Ну вот, — сказал Иван. — Опять не повезло.

— Не повезло, — согласилась Лера.

— Подождем?

— Подождем.

Краем глаза Лера видела, что оркестранты поднимаются, складывают инструменты. Сейчас будет перерыв. Она не стала говорить об этом Ивану. Пусть сам обернется и поймет.

— Как живешь? — спросил Иван.

— Хорошо.

- Работой довольна?
- Довольна. А ты?
- Не всегда. Я на тренерской работе.
- Ты не кончил института?
- Кончил. Но потом меня затянуло... Ты замужем?
- Да.
- Впрочем, я знаю.
- Наверно, знаешь. Я давно замужем.
- У тебя сын?
- Сын. Во втором классе. А у тебя есть дети?
- Нет, я разошелся.
- С Верой?
- С какой Верой? Мою жену Ириной звали.

Иван посмотрел на эстраду.

— Придется возвращаться, — сказал он. — Раньше чем через полчаса они не придут.

— Конечно.

— А про какую Веру ты спросила?

— Про ту, из-за которой все получилось.

— Не понимаю. В жизни не знал никакой Веры.

— Разве не все равно?

— Честно говоря, нет. Для меня все осталось загадкой.

— Для меня — нет.

— Ты не представляешь, что я пережил. Может, хоть теперь расскажешь? Это из-за Олега? Но ты могла бы мне все тогда рассказать. Ей-богу, легче все знать, чем воевать с ветряными мельницами.

«Сейчас я сорвусь и врежу ему в физиономию, — попяла Лера. — Человек разрушает другому жизнь и через много лет устраивает сцену у фонтана».

Этого сделать не пришлось. Возник Махоньков.

— Я ревную, — сообщил он. — Ребята, вас все ждут! Надо выпить за Розалию Ильиничну. Не зря она нас терзала столько лет.

Лера с облегчением схватила Махонькова за руку, больно ударившись пальцем о золотой массивный перстень.

А еще через полчаса Лера незаметно выскользнула из-за стола. Настроение было паршивое, вся эта затея с рестораном оказалась пустой и нелепой, а мысль о том, что Иван будет ждать ее внизу, чтобы продолжить разговор, была невыносима.

К одиннадцати она уже была дома. Мишка, слава богу спал. Олег валялся на диване с книжкой и не

встал, чтобы ее встретить. Такой был несчастный и пастороженный, что даже воздух в квартире загустел и замер, как перед грозой.

— Вы ужинали? — Лера заглянула в комнату, снимая плаща. — Котлеты ели?

Она хотела, чтобы он понял: все в порядке, не воображай глупостей.

— Я Мише поджарил котлету, — сказал Олег.

— А сам доел торт, — улыбнулась Лера.

— Нет, не хотелось. Как там было? Интересно? Много народа?

— Скучно, — сказала Лера. — Не надо было идти в ресторан. Отлично бы управились дома. Хотя бы у нас.

— У нас тесно, — сказал Олег, словно опасался такой перспективы и давно придумал ответ.

— Я шучу, теперь нескоро снова встретимся.

Сейчас он спросит, кто был. Он же должен спросить, кто был, он многих знал.

Олег спросил:

— Поставить тебе чаю?

— Не вставай, я сама. Как твоё давление?

— Лучше.

Олег полностью погрузился в чтение — словно ничего интереснее ему в жизни не попадалось. Лера ушла в комнату к Мише. Разумеется, он забыл помыться на ночь. И свет не погасил.

Скрипнул диван. Олег пошел в ванную. Включил воду. Ничего, переживёт, никаких оснований для ревности. Неужели он полагал, что возлюбленные, увидев друг друга, бросятся в объятия и поклянутся забыть об этих пятнадцати годах? А впрочем, чуть-чуть так не случилось. И черт его знает, что было бы, не реши оркестр отдохнуть. Где же то письмо? Она его не выкинула. Раз уж не разорвала сразу, то не выкинула. Не читала больше, не перечитывала, как сунула в потайную коробку из-под конфет, до которой Олег за столько лет не добрался, так оно там и лежит. Наверное, лежит.

Она вошла в большую комнату, вытащила с нижней полки стеллажа старые химические журналы. Вот и коробка. Целая пачка писем на целицу, куда она уезжала на третьем курсе. Почему же она их не выкинула? Забыла?

То письмо лежало внизу. Она развернула его, потом отложила и взяла листок со стихотворением. Прочитала несколько строк и не ощутила никаких переживаний.

Просто плохое стихотворение. А ведь тогда она, трепеща, читала его Ларисе.

Вода в ванной перестала литься. Лера быстро сложила бумаги в коробку, сунула ее на полку, поставила журналы на место.

Утром она чуть не проспала. Она слышала сквозь сон, как Олег собирал Мишку в школу, как они искали какую-то тетрадку, разбили на кухне чашку — она ждала, что они уйдут и будет еще пятнадцать тихих минут. Но проспала больше, полчаса по крайней мере. И во сне успела поспорить с Иваном. Посмотри же, уверял он, это не Верина фотография. Это фотография Ирины, они совсем не похожи. Но на фотографии была, разумеется, Вера, только у Веры могли быть такие густые черные брови...

Лера вскочила. Половина девятого. В девять она должна быть в лаборатории, иначе Добряк вообще распустится — дурные примеры заразительны. Пробегая в ванную, она зажгла газ и поставила чайник. Что же неладно? Нет, не с Иваном. Иван пришел и ушел к себе на тренерскую работу. Какие еще черные брови? Ах да, конечно, буква «з». Почему буква «з»? А вот почему: буква «з» была без верхней половинки, и она называла ее «о» маленькое. Во всех посланиях Ивана встречалось это «о» маленькое. Кроме последнего письма. Она бы не вспомнила об этом, если бы не вынула вчера из коробки старое стихотворение. Сначала письмо, а потом стихотворение.

Чайник выкипал. Она выключила газ, насыпала в кофейник кофе. Кофе кончается, тысячу раз просила Олега, чтобы купил, — ведь ему два шага от работы, заварила. Потом метнулась к книжному стеллажу. Она пила кофе и разглядывала письмо и стихотворение. Положила рядом перед собой на столе. Они были напечатаны на разных машинках. Это не пришло в голову той, давешней девчонке. Да и не могло прийти — до сличений ли ей было?

Лера опоздала на работу на пятнадцать минут. Добряк, как назло, именно в тот день не опоздал и уже, видно, отретпетировал речь о том, как вредно начальнице ходить по ресторанам, но Лера предупредила его нападение.

— Все правильно, — сказала она. — Все совершенно

точно. Проницательный Добряк опять прав. Его начальница загуляла, вернулась домой под утро и страдает от похмелья.

— А выглядите вы нормально, словно выспались, — смилостивился Добряк.

Тамара спросила:

— Вам комплекс Гойи готовить? Любимов сказал, что у него новый вариант.

— Сбегай к нему, — сказала Лера. — А ты, Сапя, включи анализатор.

— Как так включи? — удивился Сапя, который не выносил дополнительной работы. — Пока я его настрою, пройдет по крайней мере полдня.

— А что случилось?

— У него один блок обязательно полетит. Чует мое сердце, полетит. Вы его встретили?

— Кого?

Это было сказано таким тоном, чтобы отвадить подчиненных от нескромных вопросов. Отвадить можно кого угодно, но не Добряка.

— Вашу школьную любовь.

— Встретила. Он растолстел, у него пятеро детей, и он завтра уезжает в Сенегал.

— С ума сойти, — сказал Сапя. — В Сенегал! И почему я не полюбил вас в школе?

— Тебя бы все равно не взяли в Сенегал. Когда настроишь анализатор, скажешь. Я сама буду на нем работать.

— Секретное задание, — предположил Сапя, но понял, что дальнейшие шутки опасны. И принялся за работу.

Лера дождалась, когда Сапя ушел на обед, и сама выделила два комплекса, один — свой, другой — Ивана, по его стихотворениям и жалобным письмам. Проверила. Комплекс, полученный от нескольких стихотворений, со-
впадал.

В лаборатории было тихо. Молекулярная собака тихо рычала, переваривая информацию. Каждый человек оставляет по себе следы. Самые простые — запах и отпечатки пальцев. Запах улавливала собака, отпечатки пальцев — следователь. А если нет отпечатков? Если нет запаха — выветрился? Тогда, считай, ты никогда не узнаешь, кто здесь был и что делал. Графологи могут сличать почерки, стилисты — частотность союза «и»... На самом же деле каждый оставляет по себе долгую память. Вековую. Дотрагиваясь до бумаги, до холста, до драгоценного камня,

он передает на их поверхность не только частицы пота, но и молекулы своей кожи. Кожи, которая непрерывно и незаметно стирается и парастает вновь. И если предмет, до которого дотрагивался человек, не попадет потом в чужие руки, на нем можно найти эти, индивидуальные для каждой молекулы. И через год, и через десять лет. Для этого и сконструирована молекулярная собака, объект вожделения искусствоведов и криминалистов.

Молекулярная собака находит следы художника под слоем краски на холсте, обнюхивает архивные письма, адресаты которых неизвестны, оказывает услуги bravому милиционерскому майору...

До конца перерыва осталось минут пятнадцать. Сейчас прилетит Добряк и сунет свой нос в чужие тайны.

Лера заложила комплексы Ивана и свой в собаку. Ненужное занятие, пустые подозрения. Мало ли какой машинкой мог воспользоваться Иван!

Стихотворение. Доминирующий ее комплекс. Красная стрелка точно перекрыла зеленую. Можно свой комплекс снять. Что под ним? Комплекс Ивана. Разумеется. И больше ничей? Чисто. Все сходится.

Скорей бы приходил Добряк. Тогда придется выключить собаку. Она заложила в машину письмо. Вот пошел ее комплекс. Следы пальцев, державших письмо вчера и пятнадцать лет назад. Теперь остается проверить на комплекс Ивана.

Пусто. Никакой реакции. Стрелка на нуле. Может, ошибка? Машинки тоже ошибаются. Куда запропастился этот Добряк? Нуль. Полная пустота. Иван никогда в жизни не прикасался к этому письму. Даже не прикасался. Не вкладывал лист в машинку, не вынимал оттуда, не складывал, не засовывал в конверт. Это сделал кто-то другой. И не было никакой Веры.

Ворвался сияющий Добряк:

— В буфете дают горбушу, и я взял для вас полкило. Неужели вы не тронуты моей заботой?

— Тропуга, конечно, тропуга, спасибо, Саня.

Что делают люди в романах, когда оказываются перед возможностью узнать всю правду и сделать выводы? В ящике стола лежит записка от Олега, он был тут несколько дней назад и не застал Леру...

Достаточно заложить его в молекулярную собаку, и станет ясно, что Олег напечатал письмо от имени Ивана и оклеветал его. Но зачем это делать? Кому-нибудь станет от этого легче?

— Вам нужен анализатор? Или уже кончили? — спросил Добряк.

— Копчила. Выключай.

— Ну и что? Нашли, что искали?

— Нет, не нашла.

— Это хорошо или плохо?

— Не знаю.

— Что за письмо вы порвали в клочки? От поклонника?

— Нет, от кредитора.

— А вы обедать не будете?

— Нет, не хочется.

Лера взяла у Сани рыбу и положила в сумку. Молодец, Саня: Мишка и Олег обожают горбушу.

УСИЛИЯ ЛЮБВИ

Радик подвез Басманного до дома. Оба молчали — устали смертельно. Басманный вяло шлепнул Радика по плечу, вздохнул на прощание. Радик тоже вздохнул на прощание. Сыпал мелкий, холодный, паскудный дождь, никому не нужный, ни людям, не сельскому хозяйству.

— Не простудись, — сказал Радик вслед. — Ты нам еще пригодисься.

Человек в летнем костюме сутулился у подъезда. Он промок, одежда прилипла к телу, с длинного носа в такт мелкой дрожи срывались капли. Кто же, подумал Басманный, та фея, что может подвигнуть на такой подвиг мужчину средних лет?

— Вы Басманный? — строго спросил человек, встретившись с ним взглядом.

Вот тебе и фея, улыбнулся Басманный.

— К вашим услугам, — сказал он.

— Я из-за вас простужусь, — сообщил мокрый человек.

— Жаль, — сказал Басманный.

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Кто он? Изобретатель вечного двигателя? Охотник за автографами?

Черные глаза, близко посаженные к переносице, уперлись в лицо Басманного. Оранжевый отсвет из подъезда сверкал в них адским пламенем.

— Заходите, — сказал Басманный. — В любом случае глупо стоять под дождем.

— Я боялся пропустить вас, — сказал мокрый человек.

— Подождали бы в подъезде, подъехали бы в институт...

— А вы знаете, сколько сейчас времени? — спросил мокрый человек. — Пять минут двенадцатого.

— Неужели? — Басманный пропустил гостя в подъезд, вызвал лифт. От одежды мокрого человека пошел пар.

— Так что же вам нужно? — спросил Басманный.

— Две минуты вашего времени, — сказал мокрый человек, шмыгая носом. — Вы скажете «да». И я уйду.

— Тогда я скажу «да» немедленно, — ответил Басманный. — И лягу спать. У меня завтра трудный день.

— Знаю, — сказал мокрый человек и первым вошел в лифт. — Третий этаж?

— Третий.

— Завтра вы летите на Титан, — сказал мокрый человек. Длинными пальцами он убрал со лба прилипшие черные волосы. — И не пытайтесь отрицать.

— Тут нет тайны, — сказал Басманный. — Если запуск не отменят.

— Все будет в порядке, — сказал мокрый человек. — И я полечу вместо вас.

— Почему? — удивился Басманный.

Двери лифта раскрылись. Басманный пропустил вперед гостя, и тот сразу прошел к двери в его квартиру.

— Потому что мне надо завтра, в крайнем случае послезавтра быть на Титане.

— Почему?

— Потому что послезавтра оттуда уйдет рейс к Плутону. Я там должен быть раньше. У вас есть кофе?

Мокрый человек прошел к креслу, опустился в него, вокруг ботинок образовалась небольшая лужа.

— Сейчас сделаю, — сказал Басманный. — Но вы явно обратились не по адресу.

— Вот это мне лучше знать, — возразил гость. — У меня разработана последовательность действий. Вы в ней — только этап.

Басманный включил кофемолку. Она зажужжала густо, солидно. Дождь смочил подоконник — утром Басманный забыл задвинуть окно. В комнате пахло мокрой листвой и грибами.

— Очень приятно, — сказал Басманный. — А чем вы намерены заняться на Титане. Вы геолог?

— Я арфист, — сказал мокрый человек, вдыхая запах молотого кофе. — Меня зовут Ник. Ник Прострел. Не слышали?

— К сожалению, нет. Я далек от мира арфистов. А что арфисты делают на Титане?

— Не знаю, — признался Прострел. — Я буду первым. Мне нужно застать Таиспю.

Кофе поднялся над туркой рыжим горбом, и Басманный разлил его в чашки. Прострел жадно схватил чашку и принялся мять ее пальцами. Басманный не мог оторвать взгляд от пальцев гостя. Чашке было двести лет, и никто прежде не старался ее раздавить.

— Кем же вам приходится Таисия? — спросил Басманный, надеясь отвлечь Прострела от уничтожения чашки. — Она заболела?

— Она совершенно здорова, — возмутился Прострел. — С чего вы решили, что она больна?

— Тогда объясните мне.

— Я не могу без нее жить. У меня арфа валится из рук.

— Я думал, что арфы на подставках, — сказал Басманный.

— Не понимайте меня буквально, — обиделся Прострел. — Мы знакомы с Таисией три года. Она была на моем концерте. Женщина редкой профессии. Специалист по хондритам. Представляете? Нас влекло друг к другу. Мы собирались соединиться. Если бы не обстоятельства. Я не спал всю ночь. Это нервы!

— Может быть, — сказал Басманный. Ему очень хотелось, чтобы гость поскорее ушел и оставил его в покое.

— Я послал ей письмо, что должен еще раз обо всем подумать. Брачный союз — это серьезный шаг. Вы со мной согласны?

— Согласен.

— Но она не стала ждать.

— Пошлите ей телеграмму, что раскаялись.

— Дело в том... — вдруг в глазах Прострела начали зреть слезы, скапливаться блестящим валиком на нижнем веке. — Это уже было. Шесть раз. Как минимум. Я говорю вам об этом как мужчина мужчине. Я бы на ее месте не поверил мне. Я ненадежен.

— Так зачем вам на Титан? Вы же снова передумаете.

— Нет, — ответил Прострел. — Она всегда прощала меня. А теперь сказала, что улетает на Плутон. А там Степалян.

— Ну и хорошо. Она ждала три года...

— Я решил, — сказал Прострел. Он сделал усилие, красные пятна выступили на щеках, чашка, которой было двести лет, разлетелась, кофе брызнул между пальцев, на шкуру белого медведя на полу, на светлую обшивку кресла.

— Я не спал ночь, — сказал Прострел, не обращая внимания на бесчинства, которые он натворил.

— Этой чашке было двести лет, — сказал Басманный.

— Как вам не стыдно думать о чашке! — Слезы со-

рвались с нижнего века, покатились по щекам. — Вы бессердечный человек, Басманный. Я не буду вас жалеть.

— Не надо меня жалеть, — мрачно сказал Басманный. Он собрал осколки чашки и понес их на кухню. Когда он вернулся, в руках Прострела была уже вторая чашка. И он уже начал мять ее в пальцах.

Басманный сказал:

— А ну-ка, отдайте мне чашку.

Прострел чашку вернул, проворчав:

— При чем тут чашка? Я вам завтра достану таких двадцать. Я лечу на Титан и там ей все скажу. Уступите мне свое место.

— Это от меня не зависит.

— А если бы зависело?

— Я бы вас близко к Титану не подпустил.

— Тогда я готов уйти на Титан пешком.

— Это выход, — сказал Басманный. — Я не возражаю.

— Вы смеете шутить!

— Я надеюсь, что ваша Таисия будет счастлива со Степаняном.

— Нет! Я понял, что люблю только ее. Почему вы считаете, что арфист — это не человек? Почему арфист не имеет права полететь на Титан?

— Через год, — сказал Басманный, отхлебывая кофе и разглядывая пятна на шкуре и на обивке кресла. — Арфистов мы будем отправлять через год, когда полеты на Титан станут обычны.

— Безобразие! А если бы я играл на кларнете?

— Кларнетистов мы обслуживаем в первую очередь. Я больше вас не задерживаю.

— А я и не намерен задерживаться, — сказал Прострел. Он поднялся. Он почти высох. — Я понял, что вами руководит стремление к славе. Иначе вы бы уступили мне свою очередь.

— Господи! — удивился Басманный. — При чем тут слава! Нет никакого подвига в том, чтобы телепортироваться на Титан. Даже в специальных отчетах моя фамилия не будет фигурировать. Все уже испытано тысячу раз. До свидания.

— Прощайте, — сказал Прострел, направляясь к двери. — И все-таки я полечу вместо вас.

— Пожалуйста. Летите раньше меня, вместо меня, идите пешком, только оставьте меня в покое. И Таисию тоже.

— Посмотрим, — сказал Прострел, задерживаясь в дверях. — Хотя с вами я, пожалуй, больше не увижусь. Дверь хлопнула.

Басманный, борясь с ощущением нереальности, огляделся. Нет, Прострел не был кошмаром.

Басманный отхлебнул еще кофе, кофе совсем остыл. Он подошел к окну. Из подъезда вышла сгорбленная тонкая фигура и бросилась к стоявшему неподалеку флаеру.

Высокий сутулый человек с крепким носом и выразительными глазками вошел в кабинет шефа и робко улыбнулся с порога.

Для своего появления в кабинете шефа Прострел выбрал самое неудачное время. С утра все в институте шло наперекосяк. Связь с Титаном вдруг начала барахлить, из Центра сообщили, что на четырнадцать часов энергию не гарантируют, на второй станции контроля полетел резервный компьютер. Лисичка была в истерике, куда-то пропал Басманный...

— Здравствуйте, — сказал высокий человек. — Я рад с вами познакомиться.

— Да? — удивился шеф. — Как вы сюда проникли? Я сегодня никого не принимаю. И вообще сейчас ухожу на запуск.

— Знаю, — улыбнулся посетитель. — Моя фамилия Прострел. Я арфист. Мне надо на Титан.

— Очень приятно, — сказал шеф. — Но я не понимаю, кто вас пропустил.

— Ваша секретарша, — сообщил Прострел и уселся в кресло.

— Тогда обращайтесь в управление пассажирских перевозок, — сказал шеф, который не выносил нахалов.

— Когда?

— Года через два. Почти наверняка года через два установки пойдут в серию.

— Это меня не устраивает, — также серьезно сказал Прострел. — Мне надо быть на Титане завтра. Это последний срок.

— Почему?

— Несчастливая любовь, — сказал Прострел.

— Ничего не выйдет, — сказал шеф, поднимаясь, потому что замелькавшие на пульте справа от стола огоньки показали, что присутствие шефа в пусковом зале требуется немедленно.

Прострел поднялся вслед за ним.

— Вы тратите свое и мое время, — сказал шеф.

— Ничего подобного. Вот результаты медицинского обследования.

— Это еще зачем? — Шеф попытался отмахнуться от аккуратно сложенной пачки бумаг и перфокарт.

— Чтобы у вас потом не было неприятностей из-за того, что вы отправили на Титан неподходящего человека.

— Вы будете неподходящим, даже если принесете мне справку из Космического Центра.

— Они именно оттуда, — сказал Прострел.

Шеф быстро шел по коридору, автоматически раскладываясь со встречными, Прострел тоже мотал головой, словно прожил в институте по крайней мере год.

— Это невозможно, — сказал шеф. — Космический Центр не обследует арфистов: вы не представляете, до чего они загружены.

— Представляю, — сказал Прострел негромко. — Мне пришлось потратить целый день, пока я всего добился.

— Добились?

— А как же иначе?

Шеф на секунду остановился, посмотрел на Прострела мрачным, из-под седых бровей, взглядом, взял бумажки и бросил взгляд на гриф: «Космический Центр». Затем поспешил к пусковому залу.

— Я понимаю, Артур Артурович, — догнал его арфист, — что все эти документы и рекомендации от академика Пыхова и третьего института Воскобойникова не играют для вас роли...

— У вас и это есть?

— Все есть. Запуск является, так сказать, внутренним делом нашего института. И состояние здоровья теленавта — дело третье...

— Как вы сказали?

— Теленавт. Это мое изобретение. Я полагаю, что теленавтика, основателем которой вы, Артур Артурович, являетесь, станет со временем основным направлением в мировой науке. А вы как думаете?

— Я на эту тему не думаю, — буркнул шеф, который знал цену грубой лести, но устоять против нее ему было трудно, как и любому основателю мировой науки.

Пусковой зал представлял собой сцену в разгар Бородинского сражения. Разноцветными суетливыми жучками техники различных служб института облепили гро-

моздкую серую матовую устоповку, словно хотели растащить ее на винтики, что было неправдой — шла последняя проверка узлов. Красивая женщина в голубом халате рыдала на алюминиевом табурете, рядом стоял толстый брюнет со стаканом воды, который при виде шефа громко сказал:

— Басманного все нет. — Это был Радик.

— Домой звонили?

— Не отвечает.

— Он не мог струсить! — произнесла, глотая слезы, красавица.

— Ты, Лисичка, молчи, — сказал Радик. — Связь с Титаном опять барахлит. Кого вместо Басманного отправлять будем... в случае чего?

— Меня, — быстро сказал Прострел. — Я уже готов.

— Это еще кто? — удивился Радик.

Лисичка с интересом поглядела на кандидата в теленавты. Слезы продолжали струиться по ее прекрасному лицу.

Из-под потолка возник глухой голос.

— Артур Артурович, связь с Титаном. У них срочное сообщение.

— Иду, — сказал шеф и быстро побежал к ажурной лестнице на галерею — полы халата в двух метрах позади.

— Вы будете дублером Басманного? — спросила Лисичка. — Я его не выношу.

Из радиорубки донесся страшный рев шефа. В пусковом зале наступила мгновенная тишина. Но так как вопль не повторился, все вернулись к своим делам.

— Я вас раньше в институте не видела, — сказала Лисичка.

— Это не играет роли, — сказал Прострел. — Мне там нечего делать.

— Басманный тоже не совершает подвига, — сказала Лисичка, в голосе прозвучала неуверенность. Ей хотелось, чтобы ее разубедили.

— Это может каждый, — как назло согласился Прострел. — Через год так будут отправлять грудных детей. Я, например, отношусь к этому буднично. Если бы не любовь, никогда не стал бы связываться. А дальше что? Ждать на Титане следующего запуска? Сколько ждать?

— Совершенно неизвестно, — сказала Лисичка.

В зал вошла экскурсия, впереди дама в голубых очках.

— А сейчас нам покажут пусковой зал, — сказала

дама уверенно. Повела головой, как ящерица в пустыне, и спросила строго: — Кто нам покажет пусковой зал?

Прострел пошел к установке и остановился в нескольких шагах от нее, за спинами техников в желтых халатах, биологов в голубых, теоретиков в костюмах а-ля шеф.

— Вы видите перед собой, — сказал Прострел, глядя поверх голов экскурсантов, — первую в мире действующую межпланетную телепортационную установку.

Подростки достали магнитофончики, щелкнули кнопками.

— Вековая мечта человечества сбылась, — продолжал Прострел. — Фактически мгновенное перемещение материи на космические расстояния разрешает проблемы транспортировки в пределах Солнечной системы.

— А к звездам? — спросила худенькая девочка.

— И к звездам. В свое время. — Прострел отечески улыбнулся. — Принципиально это уже возможно — однако количество энергии, требуемое для такого перелета, превышает возможности всех станций нашей планеты. Даже сейчас... — голос Прострела окреп, и техники оглядывались на него, не смея сказать, что оратор мешает им работать, — даже сейчас телепортация на Титан заставит Северное полушарие отдать половину энергетических резервов, которые измеряются в миллиардах... — Прострел замолчал, обводя аудиторию горящим взглядом. Он, к сожалению, забыл, в миллиардах чего измеряется энергия.

— Если это так дорого, — сказала дама в голубых очках, — зачем тратить средства...

— Отвечаю! — Прострел направил руку вверх и продолжал: — Человечество стремится к небу. В свое время первые спутники земли казались слишком дорогими. Теперь их запускают школьные астрономические кружки.

Подростки согласно склонили головы. Они запускали спутники Земли. В свободное от занятий время.

— Но даже в настоящей форме мгновенное перемещение было бы невозможно, если бы не деталь, найденная уважаемым Артуром Артуровичем, которая обессмертит его имя.

Прострел чуть опустил указующий перст, уткнув его в приземистую фигуру шефа, который появился на лестничной площадке, сжимая в кулаке синюю ленту космограммы. Артур Артурович, встретив взгляды экскурсантов, на секунду растерялся и поклонился.

— Именно ему удалось натолкнуться на элементарную, но великую идею! Когда тело определенной массы

движется вдоль гравитационных лучей, расход энергии тысячекратно уменьшается в случае, если навстречу из точки, куда оно стремится, будет двигаться тело точно такой же массы, в обратном направлении. Эффект качелей, назвали это решение ученые. Эффектом Артура Артуровича назвал бы его я!

— А массы не столкнутся? — вякнула худенькая девочка.

— Массы условны, — сказал Прострел. — Масса фактически не существует. Это потоки элементарных частиц.

— Это что такое? — пришел в себя шеф. — Кто допустил? В день запуска! Что здесь делает Прострел?

— Проследуем дальше, — сказала дама в голубых очках и увела экскурсию в соседний зал.

— Я готов к телепортации, — сказал Прострел.

— Забудьте об этом, — возразил шеф.

— Не могу! — крикнул в ответ Прострел, задрав голову, чтобы удобнее сверлить шефа черными глазами. — Только вы можете понять, что значит любовь.

— Ах, что за пустяки, — отмахнулся шеф и, увидев Радика, потряс перед его носом космограммой. — Что теперь делать? Все пересчитывать, а Басманного нет.

— С минуты на минуту он явится, — сказал Радик. — Он верный человек.

— А если не явится?

— Значит, что-то случилось. Трагическое. И тогда лететь придется другому. Хотя нежелательно.

— Почему нежелательно? — спросил шеф.

— Потому что никто не знает, когда он вернется обратно. У нас запланирована лишь одна телепортация. Никто в Совете не даст в этом квартале энергию на вторую. Вы это знаете.

— Тогда полетите вы, — сказал шеф.

— У меня на послезавтра билеты в театр, — просто сказал Радик. — А на той неделе теща уезжает в отпуск, оставляя меня с женой и пятью детьми. Вы понимаете, что это значит?

— И это настоящий ученый! — сказал шеф. — Долой из института! Мы найдем другого. Любого.

Шеф развернулся всем корпусом и столкнулся с Пузисом, который обмахивался стопкой перфокарт, ожидая очереди поговорить с шефом.

— Пузис, — сказал шеф, и в его улыбке была неуверенность. — Вы полетите сегодня вместо Басманного? Правда?

— С удовольствием, — сказал Пузис. — Когда обратно?

— Может быть, через полгода. Но для вас это не проблема?

— Нет, не проблема, — сказал коварный Пузис. — И монография, которую мы с вами заканчиваем, Арутур Артурович, подождет. Она все равно в плане будущего года.

— Правильно, — сказал шеф. — Монография подождет. Кстати, вам совершенно нечего делать на Титане, Пузис. Он не по вашей специальности.

— Слушаюсь, шеф, — сказал коварный Пузис и исчез в радиорубке. Шеф обвел глазами армию техников и ученых у его ног. Все слышали разговор, все делали вид, что заняты делом. Только Губернаторов поднял взгляд и сказал тихо:

— Можно, я полечу? Я не женат. Мне всю жизнь хотелось побывать на Титане.

— Вот! — сказал шеф. — А вы говорите.

— Не пойдет, — крикнул снизу Прострел. — Он не поместится в установку. В нем сто пятьдесят килограммов живого веса.

— Сто двадцать, — сказал Губернаторов, который явно не поместился бы в установку.

— По всей Вселенной не хватит гравитонов, — сказала Лисичка, — чтобы перенести массу Губернаторова на Титан. Но на меня не рассчитывайте. Я завтра лечу в Коктебель.

— Вас, Лисичка, — сказал шеф, — я и не приглашал. Вы даже в виде потока элементарных частиц чрезвычайно опасны. И если вместо Титана вы попадете к вашей косметичке, никто не удивится.

— Спасибо, — сказала оскорбленная Лисичка и вспомнила, что косметичка Алла Семеновна ждет ее вечером. Скорей бы прошел этот запуск.

В зал вбежал Иван Сидорович.

— Он дома! — вскрикнул Иван Сидорович с порога, жуя половицкий ус. — Он не придет.

— О ком речь? — спросил в растерянности шеф.

— Мы послали Ивана Сидоровича к Басманному, — сказал Радик.

— Почему он не придет? — спросил шеф. — Через час телепортация на Титан. Разве не так?

— Он спит, — сказал Иван Сидорович. — И не хочет просыпаться.

— Так разбудите его!
— Он сказал, что не будет просыпаться.
— Напомните ему в конце концов, что он участник исторического события.

— Он сказал, что знает.

— И что?

— Повернулся на другой бок, — сказал Иван Сидорович.

— Я вас предупреждал, — сказал Прострел. — На Басманного нельзя полагаться.

Шеф бросился в радиорубку — шла космограмма с Титана.

— Это удивительно, — сказала Лисичка.

— Я у него вчера был, — прошептал ей Прострел. — Он произвел на меня впечатление слабого человека, не знающего, что такое истинная любовь.

— Ему этого не понять, — ответила Лисичка. — Я знаю.

— Я был вынужден подсыпать ему в кофе снотворного, — сказал Прострел.

— Это преступление! — ахнула Лисичка.

— Да, — согласился покорно Прострел. — На него меня толкнула любовь. Вы понимаете?

— Понимаю, — сказала Лисичка. — Но все равно это преступление.

— У вас не хватит совести выдать меня, — сказал Прострел.

— Не хватит, — согласилась Лисичка.

Большие часы с восемнадцатью циферблатами пробили двенадцать. До запуска оставалось меньше часа.

В радиорубке шеф передал Радикю последние данные с Титана.

— Кто летит с Титана? — спросил шеф. — Пирелли?

— Пирелли.

— Еще вчера он был легче на три кило. Разве это не безответственность?

Радик посмотрел на шефа печальными преданными глазами.

— Я не пойду в театр, — сказал он. — И жене придется одной возиться с детьми.

— Спасибо, — сказал шеф. — Я буду приходить к ней по вечерам.

— Да? — И неизвестно было, рад Радик такому решению шефа или нет.

— Ну ладно, — сказал шеф, не дождавшись должной благодарности. — Иди. У тебя какой вес?

— Сейчас узнаем, — мрачно сказал Радик. — Не представляю, как жена управится.

В коридорчике, ведущем к весовой — «массогравитонному отсеку», почему-то не горел светильник. Радик на секунду приостановился, поджидая Лисичку, чтобы она направила его на верный путь.

— Где ты? — спросил он.

— Я здесь, — ответил мужской голос.

В то же мгновение сильная рука прижала к полу и рту Радика вату, пахнущую хлороформом. Мир закружился и исчез. Последним ощущением Радика была уверенность в том, что его куда-то тащат. И голос Лисички: «Он не заслужил иного».

Ровно за восемь минут до запуска теленавт быстрыми шагами вошел в пусковой зал. Он был в длинном махровом халате с капюшоном, низко надвинутым на глаза. Из рукавов вылезали длинные руки с тяжелыми браслетами — дополнительным весом. Сзади шли два пусковика и Лисичка.

Кинув пронзительный черный взгляд на почтительную толпу техников, первый в мире теленавт исчез в черном люке установки. Пусковики нырнули вслед. Лисичка осталась стоять снаружи, словно охраняла установку от врагов.

Теленавт поглядел на установку, спросил:

— Все готово? Он там?

— Он там, — ответила Лисичка.

— Он там, — ответили техники.

Шеф проследовал к пульту. Пульт сверкал огнями, как карнавальная улица в Рио. Метроном отсчитывал последние секунды. Еще немного, и теленавт перестанет существовать. Он превратится в поток гравитонов и мгновенно перенесется к Титану. А встречный поток с теленавтом с Титана материализуется в установке, поблескивающей под множеством прожекторов и сканеров, линз и объективов...

— Десять, девять, восемь, семь, шесть...

В этот момент в зал вполз Радик.

— Шеф, — сказал он тихим голосом, которого никто не услышал.

— Пять, четыре, три, два, один... пуск!

— Шеф! — сказал Радик громче.

Шеф обернулся.

— Кто же полетел? — спросил он тихо. — Дезертир!

— Меня подменили, — сказал Радик.

Еще ярче вспыхнули экраны и сигналы.

На экране, который смотрел внутрь установки, появилось торжествующее лицо пусковика. Пусковик поднял вверх большой палец.

— Есть телепортация! — закричал он.

Техники, ученые и обслуживающий персонал бросились друг другу в объятия. Дело свершилось.

Лисичка помогла Радик, от которого сильно пахло хлороформом, подняться на ноги.

— Это, — сказала она, — песнь торжествующей любви.

Из установки, кутаясь в купальный махровый халат, оставленный теленавтом Прострелом, вышла полная молодая женщина.

— Я так больше не могу, — сказал шеф. — Мне семьдесят лет. У меня слабые нервы. Это не Пирелли.

— Нет, — ответила женщина. — Я — не Пирелли. Но Пирелли — настоящий джентльмен. И сотрудники вашего института, Артур Артурович, которые работают у нас на Титане, тоже настоящие джентльмены. Когда они поняли, какова сила моей любви к арфисту Прострелу — это имя вам, к сожалению, ничего не говорит...

— Говорит, — сказал Артур Артурович. — Говорит.

— Говорит, — сказала Лисичка.

— Тем более, — сказала решительно женщина в халате.

— Таисия, здравствуйте, — сказала тогда Лисичка. — Он так к вам стремился, чтобы вы не ушли к Степаняну.

— А вы не знаете случайно его адреса? — спросила Таисия. — Я бы поехала к нему немедленно. Я намерена спросить его, женится он на мне или будет колебаться всю жизнь?

— Его адрес, — сказал Радик, трясая головой, чтобы прогнать следы одурения, — Солнечная система. Титан.

— Когда он туда улетел? — тихо спросила Таисия.

— Одновременно с вами, — сказал Радик. — Вы должны были встретиться на полпути.

Таисия молча повернулась, сделала шаг обратно, к установке, но кто-то из техников мягко остановил ее и сказал:

— Следующий запуск через полгода.

ИЗ ЖИЗНИ ДАНТИСТОВ

Не знаю, кого на нашем курсе ненавидели больше — профессора Самойло или старичка Кикина. Тем более что эти совершенно разные люди сливались в нашем сознании в единого мучителя. Другие их тоже осуждали. Я сам слышал в коридоре, возле кафедры, как незнакомый мне преподаватель говорил Самойло: «Вы путаете студентов с морскими свинками». — «Нет не путаю, — отбрыкивался грузный Самойло, — но хочу, чтобы они не считали свинками пациентов». Басеев клялся Милочке, что в министерстве Самойло категорически отказали и что он все сделал в обход постановлениям. Я не удивился. Самойло может игнорировать даже приказ министра. Он никого не боится — гений стоматологии.

Разумеется, Кикин не единственный наш индуктор. К примеру, мне куда больше неприятностей доставила девочка с воспалением надкостницы. Но в ней не было садизма. В Кикине садизм — основная черта характера.

В понедельник мы на Кикине должны были отрабатывать местную анестезию. Когда я проснулся и вспомнил об этом, у меня участился пульс и подскочила температура. К сожалению, недостаточно, чтобы остаться дома. К тому же я, конечно, понимаю, что Самойло, при всей его первобытной жестокости, желает добра больным. Но все равно невыносимо.

Я пришел в аудиторию минут за десять до Кикина. Лаборантка уже раскладывала по столам приемники. Тотский Гордеев бродил по проходу и спрашивал всех:

— Если у меня несварение желудка, всю ночь не спал, при наложении может возникнуть летальный эффект? Как думаешь, Самойло примет во внимание?

Ему не отвечали. Все знали, что не примет. Свой понос Гордеев придумал по дороге в институт.

Я сел за свой стул и взял приемник. Совершенно безвредная на вид машинка. Похожа на наушники, только вместо мембран присоски к вискам и провод к коробочке самого приемника. Я примерил прибор. Он не был включен, но меня буквально пронизала дрожь — от предчувствия.

Сейчас всплывет Самойло, приведет очередного страдальца, усадит в кресло, лаборантка опутает этого кролика проводами, и мы начнем страдать. Это ужасно, но мудро. Я объективен. Я признаю, что в этом есть мудрость.

Краем глаза я увидел, что прибежала Милочка, отрада моих глаз, мечта моего сердца. И, разумеется, бросилась сразу к Басееву. Пошептались. Милочка клялась мне позавчера, что к Басееву у нее чисто товарищеское чувство. Это что, чувство локтя? Милочка сидела рядом с Басеевым, вертела в руках его приемник, потом они перешли к ее столу и продолжали свои таинственные переговоры, а я старался не смотреть в их сторону и, разумеется, смотрел.

Припелся Кикин. Махонький старичок с ватой в ушах, в большом пиджаке, на создание которого ушел пуд ваты. Желтая кожа на ручках и лице кое-где провисает складками, а кое-где натянута, и мне кажется, что туда тоже подложена вата. А клочки ваты над ушами образуют волосяной покров. Кикин со всеми поздоровался и впелся в меня. Этого я и боялся. Он почему-то выделял меня из группы.

— Я сегодня не спал, — сообщил он мне. — Совершенно замучил радикулит. Доходит до степени люмбаго.

За свое долгое общение с медициной Кикин нахватался разных слов и употребляет их почти правильно.

— Песочку, — сказал я ему. — Накалите на сковороде, в мешок и прикладывайте к спине. Народный способ. Многим помогает.

— Мне народные способы не помогают, — сказал Кикин. — Я по натуре аллопат. Отрицаю. Верхний правый резец меня сведет с ума.

«Нас тоже сведет с ума твой верхний правый резец», — хотел я ему ответить.

— Вы не представляете, — сказал он.

— Давно пора запломбировать, — сказал я.

— А вы как же? Как же вы без меня? — удивился Кикин. — У меня четыре группы. С кем работать будете?

Он искренне считал, что жертвует собой ради Науки. Пореубедить его невозможно.

Вошел толстый Самойло, окинул нас взглядом Наполеона перед Аустерлицем, хохотнул, сказал какую-то банальность о погоде. Я уже к нему не прислушивался. Я ждал в ожидании кикинских страданий.

А сам Кикин — хоть бы что. Уже подбежал к креслу, придерживаясь лапкой за поясницу. Семьдесят два года. Приличная пенсия. Ну что еще ему надо? Зачем культивировать в себе болезни и нести их людям, самой несчастной категории людей — студентам-стоматологам?

— Сегодня, — сказал Самойло, — занятие легкое и безболезненное. Местная анестезия. Считайте, что вам повезло.

— А общую анестезию нельзя? — спросил Гордеев.

— Шутка, — понял Самойло. И громко засмеялся. Но при том уже дал знак лаборантке, чтобы привинчивала ватного Кикина к креслу. Вбежал Миrowsольский, анестезиолог. Вообще-то обошлось бы и без него, но Самойле надо, чтобы все проходило на высшем уровне.

— На-деваем! — скомандовал Самойло, как на параде.

Я поглядел на Милочку. Она была прелестна и похожа на радистку партизанского отряда. В глазах ее отражался великий ужас, потому что в любую минуту могли ворваться эсэсовцы, застукавшие передатчик. Басеев ленивым движением поправил присоски на висках и откинулся на стуле, словно собирался посмотреть по телевизору передачу о испанской живописи в Эрмитаже.

Крепкая короткопалая рука Самойлы повисла над кнопками пульта. Включение наших приемников он производил сам после того, как заметил, что некоторые слабовольные студенты забывают включить их добровольно.

Сейчас начнется. Что-то Кикин морщится. Наверняка правый верхний мучает. Самойло смотрит на Кикина с сыновней любовью — Кикин лукаво подмигивает ему в ответ. Рука Самойлы врубает кнопки. Я подскакиваю на стуле. Вся группа подскакивает на стульях. Господи, за что такое мучение!

— Вот! — кричит Самойло. — Теперь вы понимаете, от чего мы должны спасти человечество!

Это очень простые, можно сказать, элементарные приемники, плод неразумного творчества какой-то лаборатории в Киеве. Они улавливают болевые ощущения индуктора и точно передают их пернеценту. Род биоволн. Ничего эти приемники не могут уловить: ни мыслей, ни чувств — только ощущение боли. И когда очкастый доктор наук пршез их в Москву в расчете на мировую известность и стал внедрять в больницах, медкии, будучи по натуре самым консервативным и недоверчивым человеком на свете, от использования прибора при диагно-

стике временно воздержались. До отработки и утверждения. А вот Самойло, как узнал, буквально вцепился в приемник. Ему было легче, чем другим, у него были морские свинки — студенты, беззащитные и покорные. С тех пор мы уже полгода учим симптомы различных болезней полости рта на собственной шкуре. А Самойло вкупе с мазохистом Кикиным, скопищем страданий в ватном нимбе, рассчитывает, что в светлом будущем врачи даже и разговаривать с пациентом не будут, не подключившись предварительно к его болевым центрам.

— Нет больших путаников, чем больные, — уверяет Самойло. — Больному кажется, что его схватил гастрит, а у него в самом деле ничего подобного. Мы вступаем в новую эру медицины. И вы ее предтечи, вы ее пионеры... Не забудем и об этическом аспекте. Настоящий врач не имеет права абстрагироваться от страданий пациента. Он должен разделять их. Понятно?

— Ой, как понятно!

Как же Кикин терпит эти мучения?

— Стоп, стоп, стоп! — кричит Самойло. — Почему боль в пояснице?

— Меня радикулит схватил, — радостно сообщает Кикин. — А что, ощущаете?

Самойло держится за собственную поясницу, он ведь всегда работает с нами вместе. Надо отдать ему должное — терпит, как все.

— Надо было предупредить, — говорит Самойло. — Это искажает картину.

Еще как искажает. Зуб мой ноет, спина болит, а анестезиолог Миrowsкий, естественно, не спешит. Ему спешить некуда, он не подключен.

Самойло тратит еще пять минут на описание симптомов и рассказ о том, как они будут, по его мнению, изменяться после укола. Я постепенно привыкаю к боли и гляжу на Милочку. Но раньше вижу Гордеева. Человека большого, лобастого, но удивительно ограниченного. Я вижу, как Гордеев достает пачку аспирина и кидает две таблетки в рот. Дурак, сколько я ему говорил — нельзя лечить себя, если ощущаешь чужую боль. Но он твердит, что это ему помогает. А Милочка что-то пишет. Это почти невероятно. С ее страхом перед болью — она даже хотела уйти из института, когда Самойло разыгрался, — она пишет! Неужели тоже аспирина наелась? Басеев наклоняется к ней через проход и что-то шепчет. Милочка складывает записку и передает Басееву. Может быть,

я чувствительнее других к боли? Я сейчас и слова бы не написал. Мне хочется вскочить и бегать по комнате, схватив себя за щеку.

Самойло наконец делает знак Миравольскому, тот заставляет Кикина открыть рот, и я непроизвольно хватаюсь за десну — почувствовал укол.

— Ну осторожнее, голубчик, — говорит Самойло Миравольскому. — Очень болезненно.

Марта в соседнем ряду всхлипывает. Она молчаливая, терпеливая эстонка, но сколько можно терпеть?

Боль постепенно отпускает. Но не так, как хотелось бы. Тем более разыгрывается радикулит.

— А радикулит убрать нельзя? — спрашивает Гордеев. — Он же к делу не относится.

Как будто угадал мои мысли.

— Глупо, — отвечает Самойло. — Разве в реальной практике вам не встретится больной, отягощенный радикулитом? Или желудочными коликами? Надо быть ко всему готовым.

— Я отягощен, — говорит Гордеев. — Собственными коликами.

— Вы хотите покинуть аудиторию? — вежливо спрашивает Самойло.

— Потерплю, — отвечает Гордеев. — Скоро зачет.

Потом Самойло сам чистит Кикину канал, пломбирует зуб. Я ассистирую. Анестезия на Кикина действует плохо. Она всегда на него действует плохо. Я с ужасом смотрю на зубы Кикина — они почти все свои и почти все нуждаются в лечении. Но Кикин тянет. Кикин хочет быть необходим науке. Бедные первокурсники. Они еще не подозревают, что их ждет. Кикина хватит лет на пять.

Когда очередная страда мучений кончилась, Самойло, осыпав нас на прощание вопросами, покидает аудиторию (Кикин убежал первым в буфет, хотя ему это не положено. Я подозреваю, что он нарочно будет сейчас грызть кости, чтобы пломба вылетела).

Ко мне подходит услада моих очей Милочка и спрашивает:

— Больно было?

— А ты не знаешь? — спрашиваю я настороженно. Ее близость к Басееву вызывает во мне холодность.

— Нет, не заметила, — говорит она с легкой, джокондовской улыбкой.

— Как так? — спрашиваю я.

— Людмила! — кричит из другого угла аудитории Басеев. — Не забывайся.

Людмила хохочет и уходит в коридор.

В курилке я становлюсь свидетелем, а потом и участником необычного разговора. Басеев глядит прозрачными, наглыми глазами на Гордеева. И спрашивает:

— Что бы ты отдал за то, чтобы забыть о Кикине?

— Все, — говорит Гордеев. — Буквально. Полцарства и коня.

— Полцарства не нужно, — говорит Басеев. Он знает, что я слышу разговор, но это его не тревожит. — Десятку со стипендии — и гарантирую освобождение от грехов.

— Десятку за что? — не понимает Гордеев.

— Ты надеваешь приемник, а боли не чувствуешь.

— Это невозможно, — говорит Гордеев. — Пробовали уже.

— Пробовали на любительском уровне. А я взял под уздцы своего братца, он технарь, по жидким кристаллам работает, с ним вместе мы отыскивали этого киевского инженера. Я брата представил как еще одного потенциального испытателя. Инженер уши развесил, все ему показал, даже разобрал машинку, а дальше проще простого. Брат подумал и подсказал наивному медику, как это делается.

— Что делается? — спросил Гордеев.

— Болевые ощущения отключаются, вместо этого ощущаешь приятную теплоту во всем теле. Я в прошлый раз сам попробовал, а сегодня Людмиле дал. Спроси у нее, если не веришь.

— А зачем десятка? — Этот Гордеев сохранил детскую непосредственность до двадцатилетнего возраста.

— На такси мы тратились? Тратились. — Басеев был совершенно серьезен. — Коньяк я брату покупал? Покупал.

— Но всего три занятия осталось? — вякнул Гордеев.

— Не хочешь, гуляй. Страдай.

— Может, пять рублей, а?

Тогда я ушел. Даже не могу объяснить, почему ушел. Неприятно стало. Сколько раз я сам мечтал, чтобы придумать что-нибудь, сломать эту проклятую машинку, не слышать боли проклятого Кикина, не страдать за других... Если врач будет подключаться к чужой боли, он сам скоро помрет. Это несправедливо...

Милочка ждала меня у входа, сидела на скамейке у почты напротив института, жевала яблоко.

— Что я тебе расскажу! — сказала она.

— Не надо. Знаю. Басеев Гердееву уже продавал обезболивание.

— Продавал?

— А тебе он почему дал? За прекрасные глаза? Авансом?

— Не хамя, я этого не люблю. Дал, потому что мой поклонник. Я и тебе могу устроить.

— Со скидкой?

— Не хочешь, не надо. Страдай дурью. Пошли, что ли?

Мы пошли.

Я все никак не мог сформулировать. Ну, Басеев. Бог с ним. Он человек практичный, холодный, он никогда чужую боль слушать не станет. Но Милочка, мы же с ней говорили, что это открытие гуманно...

Милочка умеет угадывать мои мысли.

— Тысячу лет врачи лечат, не болея сами, — сказала она. — И мы обойдемся.

— Но если есть возможность! — закричал я на всю улицу. — Если мы этим будем спасать людей!

— Зачем же за свой счет?

— Слова Басеева?

Милочка долго молчала. Потом сказала:

— В тебе нет жалости. Ко мне...

Была у меня к ней жалость. И даже больше, чем жалость. Я даже согласен был, чтобы она и дальше обманывала профессора Самойло. Но я все равно зол на Басеева. И теперь понимаю, почему. Зависть здесь не играет никакой роли. Просто это уже бывало в истории человечества: кто-то думает, старается, ночей не спит, в кино не ходит для того, чтобы людям было лучше. Потом приходит кто-то другой. Он деловой. Он трезвый. Он тоже хочет добра. Но только себе. И обязательно за чужой счет...

ПЕТУШОК

1

Улица, огражденная глухими заборами, которые порой нехотя раздвигались, чтобы дать место одноэтажному фасаду в три окна, повернула под прямым углом, и неожиданно я увидел внизу реку.

Улица круто стремилась к берегу, к пристани, а затем, на том берегу, так же круто поднималась наверх и исчезала в лесу. Город переплеснул через реку, но сил его хватило еще на десяток домов.

Пристань была внизу, я видел ее красную крышу. Под крышей прочел название «Мослы». Название меня удивило, потому что сам городок назывался иначе. Но и слово «Мослы» что-то означало.

Возле пристани толпились люди, стояли два фургона и автобус. Снимали кино.

Я знал, что там снимают кино, потому что специально шел туда. И знал, что действие этой комедии происходит в городе «Мослы», потому что такого города нет, я его сам придумал — маленький, чудаковатый городок. Но обыкновенность вывески на пристани и обыкновенность самой пристани заставили меня забыть, что город «Мослы» пять лет назад родился в моем воображении, а надпись сделал, конечно же, художник киногруппы.

И когда я осознал, в чем дело, то улыбнулся от благодарности к художнику, который обманул меня и заставил так просто поверить в собственную выдумку.

Розинский, режиссер фильма и мой приятель, стоял у камеры. Он увидел меня издали, когда я спускался к реке, но, как молодому человеку и начинающему режиссеру, ему важно было показать, насколько он занят. Поэтому он не пошел ко мне навстречу, а ждал меня у камеры.

— Ну как? — спросил он меня. — Ты так себе все представлял?

— Иначе, — сказал я. — Но мне нравится, как ты все это представляешь.

Подошла девочка с белым щенком на руках. Она нетерпеливо ждала, пока мы кончим говорить, ей наш раз-

говор был неинтересен, а я непонятен и чужд. Наконец она не выдержала и сказала:

— Иван Сергеевич, посмотрите, я принесла.

— Вот именно, — сказал Розинский. — Именно такой.

Голос его приобрел несвойственную сладость. Так люди, не умеющие вести себя с детьми, разговаривают с ними.

— Надюша, — сказал он, — наша звезда. И первая помощница. Правда, Надюша?

— Я его кормила, — сказала Надя, глядя щенка. — Можете не кормить.

— Ты будешь играть с ним на травке, — сказал Розинский. — Вон там. А когда проедет машина, ты помажешь ей рукой.

— Я знаю, — сказала Надя. — Мне Виктория говорила.

— Удивительно талантливый ребенок, — сказал Розинский. — Вообще я хочу снимать детский фильм. С детьми так интересно работать. В них есть непосредственность, утерянная актерами. Ты как думаешь?

Я не успел ответить, потому что оператор отбросил окуроч сигареты и сказал:

— Солнце уйдет.

Оператор, второй режиссер Виктория и директор картины — старые киноволки — относились к Розинскому снисходительно и не скрывали своего снисхождения. Розинский это чувствовал и старательно скрывал обиду. Это была его первая полнометражная картина, а они сделали по двадцать картин на своем веку и насмотрелись разных режиссеров. И потому, хоть фильм только начинал сниматься, уже были уверены, что из Розинского ничего путного не выйдет.

Они были не правы, но мы с Розинским не могли и не хотели с ними спорить или оправдываться. Доказывать правоту надо было картиной, а пока приходилось терпеть, так как снисходительное отношение к режиссеру выражалось не только во взглядах, но и в полном нежелании совершать лишние движения или усилия, из которых и состоит обычная жизнь съемочной группы.

Проезд машины, которой Надюша должна была помахать рукой, состоялся только к вечеру. Мы с ней оба к тому времени устали, потому что нет ничего утомительней безделья, когда вокруг тебя все заняты. Надя все время возилась с щенком — щенку было скучно, он кап-

ризначал и присился домой. У меня в сумке оказался бутерброд, который я купил утром на вокзале, — из того набора в целлофановом пакете, в который входит два крутых раздавленных яйца, бутерброд с колбасой и огурец.

Мы смотрели с Надей, как щенок брезгливо водит носом над бутербродом, и тут сообразили, что голодны. Я ехал в поезде, а Надя искала щенка. Поэтому я уговорил Надю пойти в столовую, которая была в двухэтажном доме на косогоре. Половина первого этажа столовая — половина хозяйственный магазин.

Надя сначала отказалась идти, потому что у нее не было денег, но я убедил ее, что питание проводится за счет киногруппы. Я так и сказал: «Питание проводится», — и казенный оборот ее сразил.

Выбор блюд был невелик — столовая вот-вот должна была закрыться. Щенок улегся под столом. Мы ели щи, а потом подавальщица сказала:

— Рыженькая, возьми котлеты.

Надя вскочила и побежала за котлетами, а я поглядел ей вслед, потому что удивился словам подавальщицы. И в самом деле увидел, что у Нади темно-рыжие волосы, густые и непослушные, собранные на затылке резинкой. А когда Надя вернулась с тарелками и поставила их на стол, сказав мне: «Пожалуйста, кушайте», — я пригляделся к ней. У нее была очень белая кожа в веснушках и зеленые глаза.

Надя почуствовала мой взгляд, и, видно, он показался ей строгим.

— Я сейчас, — сказала она. — Я уже наелась.

— Не спеши, — сказал я. — Ты в каком классе?

— В четвертом.

— А почему ты не в лагере?

— А у нас городской лагерь при школе. Виктория пришла и стала отбирать для массовки. Сначала только десять человек отобрала, а потом все начали кричать, что нечестно, и она всех взяла. Мы вчера снимались, а сегодня Виктория сказала, что щенок нужен. Она мне сказала, я сама не запрашивалась.

Я постарался вспомнить, в какой сцене нужны были дети, много детей. И не вспомнил.

— А что вы вчера играли? — спросил я.

— Мы кросс по улице бежали, а Лаврентьев за нами. Знаете Лаврентьева?

Лаврентьев был старым актером, всю жизнь игравшим

эпизоды, из тех актеров, лица которых известны любому — фамилия почти никому.

— Тебе интересно было?

— Очень, — сказала Надя. — А сегодня неинтересно.

— Но ведь ты можешь смотреть, как снимаются другие.

— Один дубль интересно, а они по три дубля снимают. И солнца ждут.

Как быстро, подумал я, эти малыши впитывают кинолексику. Слова «дубль», «массовка» звучали естественно, как «щенок».

— Можно, я ему кусок котлеты дам? — спросила Надя.

Я разрешил. Она тихонько сунула половину котлеты под стол, и щенок выхватил ее из пальцев Нади и принялся чавкать.

— Потихе ты! — сказала ему Надя. — Нас выгонят.

— Компот будете брать? — спросила подавальщица.

Когда Надя подошла к ней за стаканами, подавальщица сказала:

— Собак у нас кормить нельзя.

— Я больше не буду, — сказала Надя.

— Ты хорошо учишься? — спросил я.

Надя удивилась вопросу. Хоть он был и стандартен в разговорах со взрослыми, от меня она его, видно, не ждала.

— Когда как, — сказала она.

Я поймал себя на том, что стараюсь вспомнить, что еще надо спрашивать в светском разговоре с незнакомым ребенком. Надя глядела на дверь. Я понимал, что она терпит сидение в столовой, хотя компот уже выпит, потому что я взрослый, который ее накормил и накормил щенка. Но со мной ей неинтересно. И наше общение, таким образом, зашло в тупик.

К счастью, в солнечном прямоугольнике открытой двери возник округлый силуэт Виктории.

— Я так и знала, — сказала она. — Кинозвезду похитили. Простите, автор, Надю ждут.

— Спасибо, — сказала Надя и быстро поднялась со стула. Сделала шаг к Виктории, и я физически ощутил овладевшее ею облегчение. Но, сделав шаг к Виктории, Надя вспомнила, вернулась к столу собрать посуду. Виктория ждала в дверях.

— Ничего, — сказал я. — Я отнесу. Иди.

— Пускай приучается, — сказала Виктория. — Успеем.

Мы с Надей отнесли грязную посуду на мойку. Надя кивнула мне и убежала. Я пошел следом. Я не спешил. Почему-то мне неловко было оттого, что Виктория застала нас в столовой. С какой стати московскому писателю кормить обедом девочку из массовки?

Я уселся на траву в сторонке, за камерой, чтобы режиссер меня не видел. Потому что, увидев меня, он обязательно стал бы спрашивать моих советов. Эти советы были ему не нужны, да и давать их — подрывать и без того хлипкий авторитет Розинского. Но ему казалось, что если он пригласил на съемки автора, то вежливость требует, чтобы автор не чувствовал себя покинутым.

«Жигуленок» раза четыре проехал мимо лужайки, и каждый раз Надя деловито махала «Жигуленку», а щенок, словно заучив роль, вскакивал и лаял на машину.

Заходящее солнце создавало медный ореол вокруг Надиной головы. Она потеряла резинку и часто выпячивала нижнюю губу и дула вверх, чтобы отогнать с лица прядь волос.

Потом Розинский крикнул: «Стоп!» — и начал совещаться с оператором. Я потерял Надю из виду, а ко мне подошел знакомый актер, который начал патетически жаловаться на режиссера, потому что Розинский вызвал его с утра на площадку, но до сих пор так и не снял.

Я удивился, когда увидел Надю совсем рядом. Она держала щенка на руках и явно ждала меня.

— Ты что? — спросил я.

— Моя мама пришла, — сказала она. — Хотите поглядеть?

Несколько женщин стояло возле складного столика у сходней. За столиком сидел администратор и оплачивал талоны массовки.

Надя угадала мое желание. Мне хотелось поглядеть на ее мать, потому что я надеялся в матери увидеть Надю, какой она станет лет через двадцать.

Я долго не мог угадать ее мать среди женщин. Она оказалась сухонькой чернявой женщиной лет тридцати с узким капризным лицом. Надя поняла мое разочарование, сказала, как всегда, рассудительно:

— Я на отца похожа. Он от нас ушел.

Надина мать спорила о чем-то с администратором.

— У нас с деньгами несладко, — сказала Надя. —

Отец совсем не присылает. А мать санитаркой в больнице.

И увидев, что мать считает деньги, Надя пошла к ней, не попрощавшись со мной, потому что больше нам не о чем было разговаривать..

На следующий день я не выспался. Сначала в номер к Розинскому пришли оператор и звукооператор, мы ужинали. Жена Розинского наварила картошки. Пришел тот актер, который жаловался на простой, принес копченого леща, которого ему подарили поклонники из воинской части. В буфете было только шампанское. Мы разговаривали бестолково, долго, я затруднился бы вспомнить, о чем. Вернее всего, об экстрасенсах, плохом климате, лесных пожарах, рыбалке, интригах на студии, машинах, акселерации, катастрофах, футболе. А может быть, о летающих тарелочках, плохих комедиях, землетрясениях, ценах на помидоры, хоккее.

Потом пришла Виктория выяснить завтрашние объекты и сказала, что оркестр не сможет быть к двум, а придет лишь к четырем часам. Оператор сказал, что освещение будет неподходящим. Розинский обиделся на Викторию, которая могла бы сказать об оркестре раньше. Жена Розинского усадила Викторию за стол. Виктория постепенно перестала дуться на Розинского, а режиссер на нее. Виктория сказала:

— А наш автор сегодня водил звезду в ресторан.

— Какую звезду, в какой ресторан? — удивился Розинский, который во время съемок ничего вокруг не видел.

Виктория, посмеиваясь, рассказала, как застала нас в столовой с Надей, и в ее устах это звучало, словно я был бесстыжим соблазнителем малолетних, и мне хотелось, чтобы она поскорее убралась, хотя и смеялся вместе со всеми.

Потом, за полночь, все разошлись, и Розинский до утра жаловался мне на группу и на неудачно сложившуюся жизнь.

Утром, когда я увидел, что в толпе, собравшейся у пристани в ожидании группы, стоит и Надя с белым щенком на руках, я отвел глаза, хотя девочка смотрела на меня в упор. Мне показалось, что Виктория, которая вылезла из автобуса вслед за мной, смотрит мне в спину.

Но Надя не понимала этих тонкостей, и она побежала ко мне, как к старому знакомому.

— Доброе утро, — сказала она.

Ее зеленые глазищи уставились на меня требовательно. Она освободила одну руку — ноги щенка повисли и задергались — и взяла меня за пальцы. Она не удержалась и мотнула головой в сторону, и тогда я понял причину ее оживления: в толпе стояло несколько детей ее возраста, которые внимательно смотрели на то, что делает Надя.

Раз ей нужен был союзник, то я согласен был им стать.

Я взял ее за руку, пожал осторожно робкие пальцы и бодро спросил:

— Будем сниматься?

— Не знаю, — сказала Надя. — Как Виктория.

И снова оглянулась на непричастных к высокому искусству друзей.

Виктория как раз проходила рядом.

— Вика, — спросил я. — Сегодня Наде надо сниматься?

Наверное, мне надо было спросить это тихо, не привлекая внимания. А Виктории почему-то доставило удовольствие громко ответить мне:

— Что вы, эту девочку уже отсняли, — она кинула списходительный взгляд на Надю и спросила: — Твоя мама получила деньги? Ну тогда иди играй. Спасибо.

— А щенка? — спросила Надя.

— Щенка тоже отнеси домой.

Надя освободила мои пальцы и медленно пошла прочь. А у меня было гадкое чувство, что именно я ее предал. И я даже ощутил недоброжелательство к ребятам, которые улыбались, глядя на Надин провал. Не знаю, чего наговорила им Надя вечером, но, видно, она искренне полагала, что теперь будет сниматься каждый день, иначе бы не привела зрителей.

Зрители остались у площадки. Надя ушла. Я видел, как она поднимается по откосу к столовой. Она не обращивалась. Я чуть было не пошел за ней следом, чтобы как-то утешить, поговорить. Но не решился. Из-за Виктории. Вместо этого подошел к Розинскому и почему-то раздраженно стал возражать против мизансцены.

Я думал, что больше никогда не увижу эту девочку. Был человек и улетел на Луну.

А случилось так, что я ее увидел еще дважды.

Первый раз через полчаса.

Розинский понял, что машина проезжала мимо лужайки: вовсе не так, как положено проезжать машине мимо

лужайки. И тут ему понадобился щенок с девочкой. Виктория сообщила, что девочка отпущена домой, так как никаких иных указаний не было. В голосе ее бушевало торжество. Она была ни в чем не виновата. Режиссер был виноват во всем. Более того, ехать за девочкой, чтобы отыскать ее и вернуть, Виктория тоже не могла, так как ей надо встречать оркестр. И вообще, ехать было некому, так как оба ассистента отправились по каким-то загадочным делам. И я сказал Розинскому, что съезжу, если Виктория даст адрес, так как мне все равно делать нечего. Виктория, разумеется, адреса не имела, но я подошел к Надиным товарищам, которые все еще толпились возле съемочной площадки, и один из них согласился поехать со мной.

Надя жила на горе, за рынком, в двухэтажном деревянном доме, заселенном густо и шумно. Я сразу узнал ее мать, которая развешивала во дворе белье, и, когда я спросил Надю, она ответила:

— Хватит с нее, вскружили голову.

Я промолчал, тогда мать спросила, заплатят ли за сегодняшний день. Я сказал, что заплатят. Тогда мать нехотя крикнула Надю. Я полагаю, что Надя слышала, как подъехал наш «рафик», и слышала разговор с матерью, потому что она появилась во дворе мгновенно и тут же, не спрашивая, почему я приехал, направилась к машине. Щенок тоже догадался, в чем дело, он выбежал за Надей.

В машине мы неловко молчали, и мальчик, который привез меня к Наде, тоже молчал. Потом я спросил:

— Тебе нравится сниматься в кино?

— Когда как, — ответила Надя.

А когда мы приехали на площадку и вышли из машины, она сказала:

— Спасибо вам.

И раскрыла ладонь. В ней лежала елочная игрушка — таких теперь не делают: плоский, из давленого картона, ярко раскрашенный золотой петушок.

— Возьмите, — сказала Надя. — Вам пригодится.

Интересно, подумал я, она успела взять, когда я разговаривал с матерью во дворе, или давно ждала, надеясь, а вдруг за ней придут? И загадала, что если это буду я, то она даст мне петушка. И сидела перед окном, таясь за занавеской, в потной ладонке держала петушка, а ходики отбивали время... Тут я понял, что воображение понесло меня черт знает куда.

Надя глядела на меня, не отходила. Я должен был сказать какие-то правильные, ожидаемые от меня слова. Я их не придумал. Я сказал:

— Спасибо, я его сохранию.

— Навсегда, — сказала Надя.

— Навсегда, — согласился я. — А через много-много лет ты узнаешь меня по этому петушку.

Надя улыбнулась.

— Я вас все равно узнаю, — сказала она, — хоть вы будете совсем старый.

И Надя пошла на лужайку, где ей долго пришлось ждать, пока кончат снимать эпизод с оркестром. Она вошла со щенком и на меня не глядела.

Я уехал на следующее утро. И только в поезде вспомнил, что не спросил Викторию, выписали ли деньги Наде за последний съемочный день.

2

С академиком Бессоновым я учился в одном классе.

Есть принципиальная разница между теми, кто учился с тобой в одном классе, и теми, кто учился в институте. Школьные соученики всегда безмерно гордятся успехами своих товарищей. «Я учился с ним в одном классе», — звучит чем-то вроде заклинания. Институтские же сверстники обычно не прощают тебе успехов. Ревность профессионалов. А в школе никто не задумывается всерьез, кем станет.

Кроме Андрюши Бессонова.

Он уже в пятом классе знал, что станет великим физиком. Именно великим. Мы привыкли к этому настолько, что уже через много лет после школы, встречаясь на улице, одноклассники спрашивали: «Как там Андрюша Бессонов, стал великим физиком?» И самое удивительное и приятное заключалось в том, что он стал великим физиком. А мы с ним учились в одном классе.

В журналистской молодости я брал у него интервью, и с тех пор мы не теряли друг друга. Оказалось, что мои скромные писательские успехи волнуют его не меньше, чем меня его достижения. Я помню, как мы с ним встретились случайно в Ялте, летом, на набережной. Он был с молодой красивой женщиной типа «вторая жена великого человека». И он сказал ей: «Это Николай, мы с ним учились в одном классе. Он писатель». И в словах его звучала гордость за меня.

Разумеется, тема, которой занимается его институт, называется туманно и научно. Но Бессонов всегда говорил: «Я делаю машину времени, а мне все твердят, что это невозможно». — «Ну и что? — спрашивал я. — Как успехи?» — «Не спеши, — говорил Андрюша Бессонов. — Еще не вечер».

Его звонок застал меня в мрачном настроении. Если каждому человеку время от времени становится совершенно ясно, что жизнь его прошла зря, что он ничего не сделал, ничего не стоит и, главное, его никто не любит, то у писателя средней руки, к каковым я себя отношу, такое состояние случается чаще, чем у бухгалтеров и баскетболистов. С утра мне позвонили, что сценарий телефильма зарезал худсовет, потом позвонила бывшая жена и долго рассказывала, что ее новый муж — гений, к сожалению, непризнанный. А он, по-моему, вполне благополучный фокусник. Он умеет так ловко завязывать и развязывать веревочки, что никогда не догадаешься, как же это ему удастся. Потом почтальон принес отвергнутую журналом рукопись и письмо от дочери, из которого я узнал, что она ждет второго ребенка, собирается вступать в кооператив и хочет узнать, смогу ли я ей помочь. Я попытался написать рассказ и через два абзаца сообразил, что я писал именно его лет десять назад, только лучше, чем сейчас. Потом я решил отнести в химчистку костюм и купить чего-нибудь на ужин. Когда освобождал карманы пиджака, то вытащил золотого петушка и долго не мог вспомнить, как он попал ко мне в карман. А когда стоял в очереди в химчистку, то принялся рассуждать о том, что мне скоро пятьдесят лет, хотя больше сорока мне мало кто дает и в троллейбусе ко мне обычно обращаются со словами «молодой человек». В моем возрасте уже надо иметь свой дом, место в жизни и основательные достижения. Потому что после пятидесяти уж не сможешь писать лучше, чем в тридцать. Задача — еще несколько лет удержаться на том же уровне, как раньше. А у меня нет достижений, достаточных для того, чтобы меня помнили хотя бы в редакциях. Ведь если завтра улечу на Марс, никто даже не заметит. Придет молодой человек, принесет рассказы не хуже, чем у меня, и займет экологическую нишу.

С такими мыслями я вернулся домой, открыл окно, чтобы выгнать застойный запах переполненных пепельниц, и тут позвонил Андрюша Бессонов.

— Коля, — сказал он быстро. — Можешь меня поздравить.

— Поздравляю. С чем?

— Я ее сделал. Скептики посрамлены, хотя, конечно, не убеждены.

— Ты имеешь в виду машину времени?

— Для вас, простых смертных, эта штука будет называться машиной времени. Сам понимаешь, что я всю жизнь буду избегать этого названия, чтобы не стать посмешищем.

— Но войдешь в вечность с кличкой «изобретатель машины времени», — сказал я.

— Хочешь поглядеть? — спросил Андрюша. — Я тебе выпишу пропуск.

Была суббота, Андрюшин институт пустовал. Мы с ним облазили множество залов и комнат, и я увидел все, кроме машины времени. И пульта управления, и компьютер, и даже склад. Машины не существовало. Было «место для машины времени». Оно скрывалось в центре набитого аппаратурой зала, и я так и не понял, как туда добраться.

— Сейчас я тебе покажу, — сказал Андрюша.

Пришел юноша с серебряным кубиком, показал его мне, как новый муж моей жены показывает зрителям крапленую игральную карту, потом исчез, и Андрюша велел мне глядеть в круглый иллюминатор. Вдали, за сплетением приборов, я увидел этот кубик на каком-то столе. Потом раздалось довольно неприятное жужжание. Кубик пропал.

— Вот и все, — сказал Бессонов. — Убедительно?

— Убедительно, — сказал я. — Ты буквально фокусник.

Бессонов немного обиделся и спросил:

— А ты чего бы хотел?

— Не знаю. Я никогда еще не видел машины времени. А когда он вернется?

— Вернется? Никогда. Там, куда он улетел, нет машины времени.

— Он так и останется лежать? Среди динозавров?

— Да ты что! Он лежит в будущем году.

— Ага, — проявил я начитанность... — значит, ровно через год он здесь материализуется?

— Совсем дурак, — сказал Бессонов, словно мы с ним вместе изобретали машину времени и я забыл нечто весьма очевидное. — Это же невозможно.

— А что возможно?

— Коля, милый, как только этот кубик улетел от нас, он пропал навсегда. Для нас с тобой. Он сейчас не на Земле, то есть не на нашей Земле.

— Где же?

— На той, альтернативной Земле, существование которой предполагает присутствие кубика в то время, когда он там появится. А на нашей Земле его нет и быть не может. Разве непонятно?

— Сколько же у тебя Земель?

— Не у меня. Во Вселенной. Во Вселенной их бесконечное множество.

— И они все существуют?

— Разумеется, потому что вариантов тоже бесконечное множество.

— И значит, есть Земля, на которой Наполеон победил в битве при Ватерлоо?

— Честно говоря, сомневаюсь. Экономические возможности союзников были куда выше, чем у Наполеона. Он был обречен.

— Ты слишком серьезен.

— Я вынужден быть серьезным.

— А когда будешь посылать туда людей?

— Хоть сегодня.

— И уже посылал?

— Еще чего не хватало!

— Почему?

— Ни один местком не разрешит, даже добровольцу. Это же смерть.

— Почему?

— Да потому, что этого человека больше не будет. Понимаешь, он будет там, откуда нет возврата.

— А если он захочет?

— Ну ты захотел бы?

— Еще не знаю.

— Узнаешь, позвони.

— Конечно, позвоню, — сказал я.

3

Ну, хорошо, рассуждал я в тот вечер. Я проживу здесь еще десять лет, может быть, двадцать. Лучше писать я не буду. А ведь когда-то я хотел стать палеонтологом. Даже ходил в кружок при музее. Но не стал палеонтологом именно потому, что осознал: я никогда в жизни

не увижу ничего, кроме выветренных костей и отпечатков в песчанике. Что за смысл изучать фантомы? Ну вот, а теперь есть возможность увидеть этих нелепых динозавров, хочешь издалека, хочешь вблизи, хочешь кинуть камень — кидай. Я представил себя голым, изможденным, камень в руке и одиночество такое, какое здесь и не снилось. Мне даже стало страшно от одиночества среди динозавров. И этот страх продолжился во сне. Сон был реальным и однообразным. Я бежал по папоротниковому лесу, увязал в болоте, а за мной лениво трусил тираннозавр, порой открывая широко многозубую пасть, чтобы я не подумал, что он шутит. И я знал, что в конце концов — не сегодня, так завтра — он догонит меня и съест, потому что я в том мире один.

На следующий день позвонил Розинский, который вернулся в Москву, позвал смотреть материал. Я поехал. В маленьком зале сидело человек пять. Мы курили, сбрасывая пепел в пустую коробку от пленки. Я ждал, когда будет Надя. Сначала я угадал ее в толпе детей, бежавших кросс. Надя бежала серьезно, старательно, но ее все время закрывали от меня более шустрые дети. Потом она бежала во втором дубле. Потом в третьем.

Что интересовало меня в этой девочке? Девочка как девочка, рыжая. Лет через десять она вырастет в дебелую ленивую женщину, и я буду уже старым, и никто не будет говорить мне в троллейбусе: «Передайте билет, молодой человек». «Но она добрая, — твердил я себе, будто переубеждал. — Она простая и добрая. Она такой и останется. Я же смотрю не на нее, а на ту женщину, которая будет. Только она тогда не узнает меня, даже с золотым петушком».

Потом Надя была на лужайке, она играла с песиком и махала рукой проезжавшей машине. Она делала это три раза. И еще два раза, когда ее переснимали. Но Розинского интересовал только проезд машины.

— Вот именно, — сказал он торжествующе Виктории. — Теперь я хоть вижу выражение его лица.

А я так и не заметил выражения лица героя.

— Этот дубль и оставим, — сказал Розинский монтажера.

Потом все хвалили материал, почему не похвалить материал, если это ни к чему не обязывает. Картина будет делаться в монтажной. Я хотел попросить у монтажера срезку — кадры с Надей из ненужного дубля, но не решился.

А потом, дня через два, я долго говорил по телефону с моей приятельницей. Она художница, делает кукол. И для выставок, и для театра. Она делает хороших кукол, но у нее не сложилась жизнь. Живет одна и делает кукол. И она сказала мне:

— Я тебе завидую, Коля. Через десять лет мои куклы изнасятся. А твои книжки будут в библиотеке. И фильмы твои иногда будут идти в кино. Ты зря расстраиваешься. Ведь то, что ты делаешь, накапливается. Мне хуже: то, что я делаю, — исчезает.

— Поглядим через десять лет, — сказал я.

И, повесив трубку, я услышал собственные слова: «Поглядим через десять лет».

И вдруг понял, чего хочу. Я хочу проснуться через десять лет. И я даже объяснил себе, почему. Я хочу увидеть, останется ли что-нибудь через десять лет от того, что я делаю сегодня. Если художница права, то я должен быть известен и кому-то нужен. У меня есть пропуск в будущее — золотой петушок. В конце концов оттуда, из будущего, будет виднее, что я делал неправильно, а что зря. И я не буду повторять своих ошибок, и не буду лениться, и не буду откладывать на завтра. У меня будет десять лет форы. Я ничего не теряю, даже ни дня жизни не теряю. А приобретаю. Сто лет — слишком много, за сто лет меня наверняка забудут. Да и мир изменится так, что мне в моем возрасте не найти в нем места. А десять лет — приемлемый срок. Десять лет назад случились совсем недавно. Десять лет вперед тоже близки, очень близки. Я окажусь там, минуя все горести и неприятности, болезни и потери, которые меня ждут, если я поплечусь в будущее вместе со всем человечеством, значительно постарев, а может, и померев по пути.

Так я себя уговаривал. Словно почти незнакомая девочка была ни при чем. Впрочем, она и была ни при чем. Только если бы ее не было совсем, я бы не вернулся к Андриюше Бессонову и не сказал ему, что хочу стать добровольцем.

4

Андриюша Бессонов, с которым я учился в одном классе, сказал мне решительное «нет». Он поднял меня на смех. Он объяснил мне снова, что я не смогу вернуться обратно. И совершенно неизвестно, что представляет со-

бой альтернативная Земля, в которой предусмотрено мое появление через десять лет.

Я жал на то, что я совершенно одинок. Что никто не спохватится. Что никто не узнает. Что пора ему переходить к экспериментам с людьми, потому что иначе его машина времени остается лишь теоретической конструкцией, и это обидно.

В конце концов Андрияша Бессонов догадался, но догадался неверно.

— Ты болен? — спросил он очень серьезно.

— Болен, — сразу согласился я.

— И это... они отказались дать тебе надежду?

— Я надеюсь, что через десять лет они мне помогут, — сказал я. — Доктор уверяет, что вопрос создания лекарства — месяцы.

Андрияша поверил мне. Ему нужно было логичное и разумное объяснение моему странному желанию. Неизлечимая болезнь была единственным объяснением, которое его могло удовлетворить. Но он снова мне отказал.

А потом почти согласился. И не знаю, что было важнее — его желание помочь мне, учившемуся с ним в одном классе. Или страсть ученого. Ему в самом деле безумно хотелось отправить человека в будущее. Ведь он был изобретателем машины времени.

В результате я сделал это без его разрешения, вроде бы обманув его. Категорически запретив мне приближаться к машине, он показал, как она действует и что надо сделать, если уйти на десять лет в будущее.

Я не стал прощаться с ним. Я просто пошел поглядеть на «место времени» вблизи — и провалился в тень...

5

Я спускался к реке по улице, огражденной глухими заборами, которые порой нехотя раздвигались, чтобы дать место одноэтажному фасаду в три окна. Улица повернула под прямым углом, и неожиданно я увидел впризму реку.

Улица круто стремилась к берегу, к пристани, а затем, на том берегу, так же круто поднималась вверх и пропадала в лесу. Город переплеснул через реку, но сил его хватило только на два десятка домов.

Пристань была внизу, я видел ее красную крышу. Под обрезом крыши было название «Мочалки». Название

меня удивило, потому что город назывался иначе. Но слово «Мочалки» было знакомо.

Возле пристани толпились люди, стояли фургоны, автобус.

Снимали кино.

Я знал, что снимают кино, потому что специально шел туда. И знал, разумеется, что действие будущей комедии происходит в городке «Мочалки». Такого городка нет. Я его сам придумал — маленький чудаковатый город. Но обыкновенность вывески и обыкновенность самой пристани заставили меня забыть, что городок «Мочалки» пять лет назад родился в моем воображении, а надпись — плод трудов художника киногруппы.

И когда я осознал, в чем дело, я улыбнулся от благодарности к художнику, который так нечаянно обманул меня и заставил на минутку поверить в собственную выдумку.

Розинский, режиссер фильма и мой приятель, ждал меня у видеокамер, которые полукругом осадили площадку.

— Ну, как? — спросил он меня, надвигаясь круглым животиком. — Ты себе это так представлял?

— Не так, — сказал я, — но мне нравится, как ты себе это представляешь.

Сейчас он потянет меня в сторонку, подумал я, и пахнет жаловаться на группу, на качество видеокассет, на Викторню, на директора. Удивительный человек. Мы с ним снимаем пятую картину, пятую картину он работает с той же Викторней, с тем же директором и все равно подозревает их в неуважительном к себе отношении, в снисходительности, даже в презрении.

— Пошли к монитору, — сказал Розинский вместо жалоб. — Поглядим материал, который до обеда снимали.

Мониторы стояли в комнате начальника пристани, которую тот освободил для группы, хотя сам из любопытства остался и сидел теперь за пустым столом.

Оператор крутил дубли сразу на двух мониторах. Второй брал сцену под прямым углом к главному. Катер на воздушной подушке причаливал к пристани, с него сходили пассажиры. Старик Поляковский крутил головой, разыскивая в толпе свою невестку. На секунду его взгляд задержался на высокой плотной девушке с темно-рыжими волосами, непослушными, даже буйными, скрепленными

сзади резинкой. Оператор дал ее крупный план, и я увидел, что у нее ярко-зеленые глаза.

— Это кто? — спросил я. — Я ее не знаю.

— Это не актриса, — сказала Виктория. Могучая седовласая Виктория. Как она изменилась за те годы, что мы работаем вместе. — Это местная, из массовки. Розинский от нее без ума.

— Это я от нее без ума! — сказал оператор. — С такими данными давно надо в Москву.

— Ее не уговоришь, — вздохнул Розинский. — У нее хозяйство, мать больная. Жених скоро из армии вернется.

Когда мы кончили смотреть материал, то оставили второго оператора корректировать световую гамму снятых кадров, а сами вышли на теплый вечерний склон. Приехал оркестр, который должен был играть на проводах героя.

Я поймал себя на том, что кручу головой в поисках девушки с зелеными глазами. Ее не было.

— Где же ваша находка? — спросил я Розинского. Он сразу догадался, о ком речь.

— Надя? — сказал он. — Честно говоря, почти уверен, что Виктория с ней расплатилась и отправила ее домой. Сейчас проверим.

Розинский поднял руку, и тут же возник рядом администратор. «Ну и высколил группу мой давний друг, — подумал я. — Когда ты начинал свою первую картину, администраторы тебя просто не замечали».

— Миша, — сказал Розинский. — Вчера у нас такая рыженькая работала. Надя...

— Виктория Олеговна сказала, что больше ей приходить не нужно.

— Вот видишь! Как я их всех знаю, — и тут же Розинский обернулся к Мише-администратору и приказал: — Чтобы немедленно отыскать и на площадку.

— Но Виктория Олеговна...

— Я сказал.

Миша бросился к своему «Жигуленку» — розовому, тридцать шестой модели, недавно купил. Я догнал его.

— Миш, я с тобой.

— Пожалуйста, — сказал он. Он ничего не понял. Он спросил: — Вас по дороге в гостиницу завезти?

— Нет, я с тобой к Наде.

Миша не осмелился перечить. Сам Николай Дмитрие-

вич, маститый, заслуженный, лауреат, пожелал! Им, великим людям, дозволены маленькие причуды.

Надя жила в двухэтажном доме на окраине. Он каким-то чудом остался здесь, хотя всех соседей его уже снесли. От одиночества дом казался молчаливым и пустым. Маленькая седая женщина, с нервным, видимо, вечно озабоченным лицом, обернулась к нам.

— Надю! — сказал бесцеремонный Миша.

— Не будет она больше сниматься, — буркнула сердито женщина. У меня было такое ощущение, что я ее когда-то видел. Хотя скорее всего просто знаю этот тип женщин. — Ей заниматься нужно. Опять провалится в институт.

— Только на один день, — сказал Миша. — По личной просьбе режиссера. Видите, даже наш автор приехал. И вообще ей прямая дорога в кино.

В этот момент Надя вышла из дверей. Мне показалось, она была уверена, что за ней должны приехать и позвать. Нет, она не была накрашена или как-нибудь особенно одета. У нее была очень белая, в веснушках кожа. И волосы ее были не то чтобы рыжими, а очень густого, темного медного цвета. Она знала силу своего взгляда. Она внимательно поглядела на меня.

— Николай Дмитриевич. Знаменитый писатель, — поспешил представить меня Миша. В иной ситуации я бы одернул его. Но что поделаешь, пускай Надя слышит именно эти слова.

— Я знаю, — сказала Надя. — У меня ваша книжка есть. А Виктория Олеговна сказала, что в моих услугах она больше не нуждается.

Она удачно скопировала голос Виктории и даже надменную — графскую — каменность ее лица. Миша хихикнул:

— Сам Розинский просит.

— Мама, — сказала Надя, — я буду вечером.

И пошла к машине.

«Как она естественна, — подумал я. — Как она правильно садится в машину».

В машине она поглядела на меня оценивающе. Гожусь ли я в знаменитые писатели?

— Я думала, что вы старый, — сказала она.

— Я и так немолодой, мне скоро пятьдесят будет.

— Никогда не дашь, — сказала Надя. — Вас, наверное, в автобусе еще «молодым человеком» называют? Молодой человек, передайте билет. Правильно?

— Еще называют.

— Режиссер кажется старше вас.

— Только кажется.

— Я вообще считаю, что молодым девушкам нечего делать со своими сверстниками. Скучно до ужаса. Мужчина должен иметь опыт.

Это были не ее слова. Наверное, из какого-нибудь кинофильма. Она положила ногу на ногу, колени у нее тоже были белые.

— Я совсем не загораю, — заметила она мой взгляд. — Обгораю и снова белая. Даже обидно, как будто в отпуске не была. Вы мне завтра книжку свою подпишете?

— Обязательно.

Мы приехали. Розинский ждал, не начинал без Нади. Не потому, что она была ему нужна, а потому, что таким образом устанавливал свою безграничную власть в группе. Виктория дулась, но молчала.

Надя прошла к толпе провожающих главного героя так, словно была единственной звездой на площадке. Роли у нее никакой не было, но я заметил, как вторая камера периодически замирала на ее крупном плане.

Был перерыв, поехали за кассетами, конечно, не рассчитали и забыли запас в гостинице. Надя отыскала меня на берегу.

— Мне этот Сема надоел, — сказала она.

— Кто?

— Сема, оператор. Он меня сегодня в кино звал. Операторы ничего не решают, правда?

— В чем?

Она не ответила. Продолжала, словно не слышала:

— У нас кино идет интересное, индийский фильм, в двух сериях. Вы не смотрели?

Глаза ее были настойчивыми, чистыми.

— Не люблю индийские фильмы, — сказал я.

— Я тоже не люблю, — сказала Надя слишком быстро. — Они такие примитивные. Но иногда хочется развлечься и ни о чем не думать.

— Надя! — закричал Розинский. — Ты куда ушла? Начинаем.

— Зовет, — сказала она. — Обратил на меня внимание. Говорит, что у меня данные.

Она отошла к группе. Но недалеко. Остановилась и спросила:

— А вы специально к речке отошли?

— Нет, — удивился я.

Она засмеялась низким сочным смехом.

А я понял, что специально отошел к реке, надеясь, что она подойдет ко мне.

Этого еще не хватало, рассердился я на себя. Знаменитый писатель. Сколько ей лет? Двадцать, не больше. Девушка хочет в кино. Девушка совершенно не представляет, что это такое. Она думает, что это и есть красивая жизнь. Ей все говорят: ах, у тебя удивительные глаза! Ах, какие волосы! Понятно, почему сердится Виктория: непозволительно острое внимание со стороны мужчин. Я поглядел наверх. Виктория стояла, ждала Надю, но смотрела на меня. Как мне показалось, с осуждением.

На следующий день мне надо было уезжать.

Перед поездом я зашел на площадку.

Посмотреть, как будут снимать. А может, взглянуть на Надю. Может быть. Вчера я уехал раньше других, был зол на себя, устал как собака. Уехал, пока снимали, лег спать.

Я знал, что Наде делать на площадке нечего. Но почти не сомневался, что она придет.

Она меня увидела, когда я шел по улице.

Она сидела, болтала с оператором Семей.

Сразу поднялась и пошла мне навстречу.

— Вы вчера ушли, даже не попрощались, — сказала она с осуждением. Как будто я нарушил обещание ждать ее.

— Устал.

— А я в кино ходила. С Семей. Ужасная тоска эти индийские фильмы.

У Нади были губы очень нежного розового цвета.

— Как вы думаете, — спросила вдруг Надя. — У меня есть шансы поступить во ВГИК? Или в театральное училище?

— А почему ты хочешь?

— Я обязательно поступлю, — сказала Надя. — А вы мне поможете?

— Как же я вам помогу?

— Ну, у вас связи, вас все знают. Вот я книжку принесла, подпишите.

Пока я подписывал книгу, а она корректировала надпись: «Напишите лучше — «Дорогой Наде», так лучше», — подошел Миша, сказал, что машина ждет.

Надя взяла книгу, спрятала в сумочку.

— Что вы ей написали? — спросил Миша.

— Не твоего ума дело. — Надя четко разбиралась, кто ей может помочь в Москве, а кто ей не нужен.

Но Миша не обиделся. Пошел к машине.

— Вы верите, что я поступлю? — спросила Надя.

— Убежден, — искренне ответил я.

— Я в Москве вас найду. Мне даже вашего телефона не надо. Осенью приеду.

Потом она протянула мне руку, как послушная девочка.

— Не уходите еще. Я вам тоже подарок приготовила.

Она извлекла из сумочки елочную игрушку, таких давно уже не делают. Петушок из давленого картона, позолоченный.

— Если увидимся в Москве, — сказала она серьезно, — я вас по петушку узнаю.

— Николай, ты с ума сошел! — крикнула Виктория. — На поезд опоздаешь.

Я побежал к машине. От машины оглянулся. Надя стояла, приветственно подняв руку. Очень белую руку.

В поезде я снова расстроился. Попытаюсь объяснить, почему. Мне скоро пятьдесят лет. Формально я вроде бы достиг многого. Меня знают, печатают, снимают. И если я завтра умру или улечу на Марс, то, полагаю, еще долго будут говорить о моем тоне, моей стилистике, моем видении мира. А если честно — добился ли я того, чего хотел? Нет, ничего не изменилось. Двадцать лет назад я писал лучше, хоть многого и не умел. Сейчас я на площадке, с которой путь только вниз. Поэтому мое общение с тщеславной и прямодушной в своей целенаправленности Надей было ложью. Не видела она меня. Видела только имя на обложке книги или в титрах фильма. Улыбаясь, превратила меня в ступеньку, по которой можно подниматься к заветной вершине. А в сущности, никому я не нужен и ничего не стою... Я полез в карман, достал золотого петушка. Он был потерт на краях. Видно, много раз его доставали из коробки и вешали на елку. Узнает она и без петушка. Я положил петушка обратно в карман, и пальцы нащупали что-то еще. Я вытащил это что-то. Оказался снова картонный позолоченный петушок. Второй. Я положил их рядом на колени.

Фантастика, подумал я. Петушки размножаются.

„Спасите
Галю!“



«СПАСИТЕ ГАЛЮ!»

Глава первая. Из Отчета

18 сентября в 16 часов 40 минут при переходе экскурсии из цеха № 3 в профилакторий с целью ознакомления экскурсантов с условиями отдыха работников Предприятия от группы отстала Галя Н., ученица 7-го «Б» класса подшефной школы. Несмотря на принятые меры охраны детей, выразившиеся в том, что, помимо Главного технолога Щукина Н. Р. и его заместителя Клопатога Р. Г., группу сопровождали преподаватель 7-го «Б» класса Калинина Р. Р. и стрелок специализированной охраны Варнавский Г. Л., Гале Н. удалось, как сообщили ее друзья по классу, присутствовавшие при инциденте, незаметно отойти в сторону. Ее действия были вызваны слухами, имевшими место среди детей о том, что запретная Зона Предприятия таит в себе некие сокровища и пресловутое озеро Желаний. По сообщению преподавательницы Калининой Р. Р., вышеупомянутая Галя Н. отличается непостоянством характера, тяжелыми семейными обстоятельствами и слабой дисциплиной.

По обнаружении исчезновения Галины Н. были приняты следующие меры:

а) сделано объявление по внутренней сети Предприятия в надежде на то, что Галя Н. неглубоко углубилась в Зону и, услышав призыв, вернется обратно. Эта мера эффекта не дала;

б) группа школьников была временно задержана в профилактории, где им был выдан горячий ужин и включен видеофон для того, чтобы слухи об исчезновении Гали Н. не распространялись по городу и не вызывали излишней паники населения;

в) был вызван из дома Васюнин Г. В., сборщик цеха № 2, который, как известно, самовольно бывал в Зоне, за что имеет выговор и предупрежден об увольнении в случае повторения.

Глава вторая. Сталкер Жора

Меня подняли с койки. Я сменился в два и лег спать. Звонят от Главного технолога — пропал ребенок. Упустили в Зону. Немедленно приезжай.

Я, конечно, ответил, что когда получать выговоры, то Васюнин плохой. Когда же прошляпили, ребенка упустили — Васюнин, спасай!

Оделся, приехал на Предприятие.

Там, у третьего корпуса, директор, Главный технолог, заместители, спецхрана. Суетятся. Директор ко мне:

— Сталкер, надо помочь.

Сталкером меня после одного фильма зовут. Там был такой тип, что-то вроде меня. И Зона тоже была. Смотрел я тот фильм, впечатления не получил. Пугают, а не страшно. Им бы в нашу Зону.

— Нет, — говорю, — я не в форме.

— Премию дадим, улучшим жилищные условия, — говорит директор.

Еще бы, думаю, — что в городе поднимется, когда поймут, что ребенок пропал с концами! А выйти у нее шансов немного. Бывало, совались в Зону. Где они? Кто кормит их детей? Хотя, конечно, соблазнов немало. Но сокровищ нету. Другие только треплются. Далеко никто не пойдет. Может, Лукьяныч до третьего пункта ходил. Дальше его белая Козьява не пустила. Вернулся, шрам на руке всем показывает.

— Ты о ее матери подумай, — сказал технолог.

— А что ее мать?

— Может, знаешь? Она раньше в «Ласточке» работала.

Это меня подкосило. Лариса! Душа моя, Лариса, сколько вздохов из-за нее, сколько слез пролито, а может, и крови. И я мальчишкой глазел на ее золотые кудряшки и алый ротик! И был раз допущен. Нет, серьезно. Один поцелуй — и умереть! Значит, это ее Галка? Вся в мать?

— Пойду, — сказал я. — Только вы пенсию оформите моей Людмиле. Ей, если что, Пашку воспитывать.

— Какая пенсия! — директор кричит. — Ты же вернешься! Мы другого знать не хотим. Мы верим в тебя, Жора.

— Слушай, давай без демагогии, — сказал я. — Я жить хочу, но мне девчонку жалко. Если она вглубь пошла, там и я не бывал. Зона есть Зона. Она человека не признает. У нее свои законы.

Тогда директор дал слово — если что, оформят, как погибшему на производстве.

Директор сказал, что со мной пойдет Щукин.

— Слушай, — сказал я Щукину, — интеллигенция. Ты мне в обузу. Вместо того, чтобы ребенка вытаскивать, придется тебя на горбу тащить. Лучше я Лукьяныча возьму.

Лукьяныч сначала — ни в какую.

— Меня уже ломало, — говорит.

Но пошли все же мы втроем. Я сам на складе отобрал что нужно. На это ушел почти час. Кладовщик куда-то ушел, сам директор пломбы рвал. Взял хорошую веревку, нейлоновую. Пушку я Лукьянычу брать не велел. В Зоне пуля не спасет. Щукина я сгонял к спортсменам. У них, у альпинистов, оборудование взяли. Взломали дверь и взяли. Два ледоруба. Палатку. Кто-то из начальства стал говорить — на что палатка, не ночевать же собираетесь. Конечно, неплохо бы бронжилеты, но у нас их нет. Ватники взяли, свитера. Врачиха из медпункта бинты принесла, вату, я потребовал флягу со спиртом. Еще десять минут скандала. В конце концов директор флягу коньяком залил. Из своего фонда.

Я сказал Щукину:

— Оставайся, Коля.

А он поморгал, очки поправил. И говорит:

— Ничего, я в молодости в погранвойсках служил. Ты не беспокойся. Я не буду обузой. Я виноват, что не досмотрел — с меня спрос.

— Ладно, говорю, но учти, я иду спасать Ларискину Галку, а не тебя.

— Понятно, — говорит. А ватник ему мал — руки чуть не по локоть наружу, пальцы тонкие. Но упрямый.

В пять тридцать мы вышли.

Мне это не нравилось. Скоро сумерки. А ночь в Зоне еще никто не проводил. А если провел, уже не расскажет.

Глава третья. Технолог Щукин

Я шел в середине. Первым Жора Васюнин, легкий, худой, злой. Замыкал Лукьяныч. Лукьяныч робел, поминутно оглядывался. Директор соблазнил его большой премией. Впрочем, на что Лукьянычу премия? Удивительно несоизмеримы наши дела и их последствия! Любопытно,

а что, если бы и я потребовал премию? Я внутренне усмехнулся. Я понимал, что мы должны найти девочку до темноты. Директор взял с нас слово, что до темноты мы вернемся. Я могу его понять: гибель девочки — это потеря, горе, но не трагедия для Предприятия. Если погибнет группа — можно представить, какой будет суд. А директору два года до пенсии.

Я нес мегафон. Когда я брал его, Жора ничего не сказал. Но как только стены контейнеров скрыли нас от жалкой, потерянной группы провожающих, он оглянулся и коротко сказал:

— Брось.

Я положил мегафон на ящик.

— Лучше не шуметь, — сказал он коротко. — Зона не любит чужого шума.

В походке Жоры, в голосе что-то изменилось. Он стал первобытным. Именно первобытным — мягким, настроенным, готовым отпрыгнуть. Я старался подражать ему, ступать в след. Сзади топал и пыхтел Лукьяныч. Он никому не подражал.

Густая пыль покрывала выщербленный асфальт. Еще лет восемь-десять назад здесь был хозяйственный двор Предприятия. За эти годы Зона, наступая на нас, пожрала этот участок двора и приблизилась к третьему цеху. Некоторые работницы второй смены уверяют, что в осенние глухие вечера слышат крики и стоны из Зоны. И ее страшное дыхание.

— Смотри, — сказал Жора тихо. Он показал под ноги. Я подошел к нему. Цепочка следов, девичьи, узких, легких, тянулась между обрушенными контейнерами. Сквозь щели в контейнерах проступали металлические узловатые части станков.

— Она, — сказал Лукьяныч. — Давай крикну.

— Тише, — ответил Жора. — Она час назад здесь прошла. Видишь, пыль уже снова села... Теперь не докричишься.

Мы остановились под двумя бетонными плитами, которые образовали как бы карточный домик.

— Я здесь был, — сказал Лукьяныч.

Жора поднял вверх руку.

Тихий стон донесся спереди.

Я хотел броситься туда, полагая, что стонет Галя.

Но Жора удержал меня.

— Это не то, — прошептал он.

Мы протиснулись по очереди сквозь переплетение ар-

матуры. Под ногами хлюпала рыжая жижа. И тут я понял, откуда нам послышался стон: переплетение труб, висевшее на остатках колонн, покачивалось в полной неподвижности воздуха, словно невидимая сила раскачивала их. Трубы издавали странную смесь жалких ноющих звуков.

Я вздохнул облегченно и хотел идти дальше, но Жора знаками приказал взять правее. Мы шли, прижимаясь к зубьям кирпичной стены. Следов девочки больше не было видно. Я старался представить себе: какая она? Я же видел ее в группе этих веселых щебечущих школьников. Почему именно ее потянуло в известную всем смертельную опасность Зоны? Что за сила сидит в человеке, которая омрачает его разум? Я скорее могу понять Лукьяныча, которого вела туда корысть, или Жору, вообще склонного к авантюрам и, по слухам, выносившего из Зоны ценные и загадочные вещи. Но девочка?

Я задумался и налетел на спину замершего Жоры. Сзади дышал Лукьяныч. Может, у него астма?

— Проходим трубу, — прошептал Жора. — Проходим по одному. Я бегу первый. Если благополучно, махну рукой. Бежишь ты. Не оглядываться, не останавливаться.

Я нагнулся, заглянул в трубу. Она казалась нестрашной. Впереди, недалеко, был виден свет.

— А обойти нельзя? — спросил я.

Жора не ответил. Мой вопрос был глуп. По обе стороны возвышались обрывы кирпича и ржавых конструкций, с которых свисали серые бороды лишайников.

Жора наклонился и побежал.

Я смотрел ему и считал шаги. Его черная фигура заполнила всю трубу.

И вдруг исчезла. Исчезла раньше, чем кончилась труба. Я мог поклясться в этом.

— Сгинул, — сказал Лукьяныч.

— Ты что говоришь! — огрызнулся я.

— Тогда идите, — сказал Лукьяныч. — Мне туда не к спеху.

Я понимал, что надо идти. Я снял с плеча моток веревки и передал его Лукьянычу. Сам взялся за конец.

— Будете страховать, — сказал я.

Я нагнулся и пошел в трубу. В ней царил резкий неприятный запах, схожий с запахом аммиака. Дно трубы было скользким, идти было трудно, я шел осторожно — считал шаги. Жора исчез на десятом шагу. На девятом

я остановился. Вокруг воцарилась неестественная мертвая тишина.

К моему удивлению оказалось, что дно трубы и далее кажется твердым, и от этого обмана зрения я чуть было не сделал следующий шаг, даже поднял ногу, но не успел перенести вес тела вперед, как понял, что в самом деле дно трубы — лишь отражение ее потолка в покрытой блестящей пленкой темноте глубокого колодца. Я присел на корточки и попытался разорвать пленку. Пленка с треском лопнула, и я увидел — совсем близко, на расстоянии метра — запрокинутую голову Жоры, которая медленно вползала в черную гляцевую трясину. Почему-то я совсем не испугался, наверное, был готов к чему-то подобному. Я бросил конец веревки Жоре, а сам упал на скользкий пол трубы и крикнул Лукьянычу, чтобы держал крепче — веревка рывком натянулась так, что я чуть было ее не отпустил. А Жора тем временем смог выдернуть руку из жижи и схватиться за веревку, отчего на секунду его лицо скрылось в черноте, но, когда мы с Лукьянычем стали тянуть, с хлопанием и вскриком трясина отпустила Жору, и через минуту отчаянного напряжения он оказался рядом со мной. От него несло отвратительной вонью.

— Живой, — прохрипел он, — живой...

— Ты знал? — спросил я. — Ты знал и пошел?

— Оно редко открывается. А с четырех закрыто.

— Весь в дерьме, — укоризненно произнес Лукьяныч.

— Пошли, — сказал Жора, поднимаясь на четвереньки. И так, на четвереньках, он пополз вперед. Я полагаю, что он обезумел, пытался остановить его, но он лишь грубо огрызнулся и миновал благополучно место, где только что зияла трясина.

Я колебался последовать его примеру.

— Иди, не дрейфь, — прохрипел он, оборачивая ко мне черное лицо. — Они закрылись.

Я прополз за ним и, когда опасность осталась позади, позволил себе спросить:

— Что это было? Почему возникло? Почему исчезло?

— Потом скажу, сейчас молчи...

Мы вылезли из трубы. Я обернулся. Из черной пасти трубы показался Лукьяныч. Над трубой криво висела эмалевая табличка «Туалет закрыт с 16.30». Словно какой-то шутник только что повесил эту табличку и подсказал мне обернуться и разделить с ним непринужденное веселье по поводу его выдумки.

А сам ухмыляется из темноты.

В ответ на мои мысли из недр трубы донесся грохот спускаемой воды, словно прорвался водопад и в следующее мгновение он кинется наружу, чтобы утопить нас... Я рванулся вперед и налетел на спину обогнавшего меня Лукьяныча, который локоть к локтю с Жорой замер, закрывая от меня то, что заставило моих спутников остановиться.

Сначала мне показалось, что они стоят на краю зеленой лужайки, расцветшей синими васильками, но тут же стало ясно, что полянка живая, но покрыта она не травой и цветами, а тысячами круглых стеклянных разноцветных глаз, большей частью зеленых и бирюзовых. Это были лишь глазные яблоки, лишенные ресниц и век, но тем не менее они жили, подмигивали, их зрачки сужались, приглядываясь к нам, и по лужайке глаз как бы прокатывалась волна, отчего глаза приближались к нам, стремясь достать до наших ног.

— Направо! — крикнул Жора, и мы побежали между россыпью глаз и остаткам блочного дома, сложившегося подобно карточному домику в длинную грудку плит, рам, кусков кровли, ступенек...

Глаза были резвее нас, они лились, отрезая нам дорогу, и вот уже мы бежим по глазам, которые с треском лопаются, разлетаются в пыль под ногами, но все новые и новые глаза рвутся к нам, уже взбираются, вкатываются по штанинам, щекочут ноги...

Мы уже не бежали — мы брели, почти по пояс в глазах, и Жора, перекрывая треск и шорох, кричал нам:

— Вы только не бойтесь, они не кусаются, не кусаются...

Но у Лукьяныча нервы не выдержали. Он увидел рядом щель между плитами, начал протискиваться в нее, раздирая потертый китель. Он рычал и брыкался ногами, еще мгновение — и он исчез из виду, только слышно было, как трещат, скрипят панели, и тут же послышался шум обвала, и грудка панелей и лестниц начала оседать, вваливаться внутрь, погребая под собой Лукьяныча.

— Все, финиш, — сказал Жора, отряхивая с себя голубые глаза.

— Мы должны спасти его, — сказал я.

— Свежо предание.

— Но он, может быть, жив.

— Вот сам и иди, — сказал Жора зло.

— Поїду, — сказал я, глядя в растерянности на развалины дома и не видя щели и отверстия, в которое можно было бы пропикнуть.

А Жора пошел вдоль развалин, не оборачиваясь, будто забыл о Лукьяныче.

— Так нельзя! — крикнул я, догоняя его.

Жора не отвечал.

Потом остановился, глядя вверх.

Я проследил за его взглядом и увидел, что на высоте трех метров завал пересекает трещина.

— Жди здесь, — сказал Жора.

— Нет, — сказал я. — Только вместе.

Жора выругался и начал карабкаться наверх. Я помог ему. Потом Жора протянул мне руку, и я взобрался наверх.

Трещина была узкой — внизу темнота. Жора кинул туда камешек. Камешек застучал по плитам — значит, провал был неглубоким.

Жора посмотрел на небо. Небо было бесцветным, вечерним.

— Черт знает что, — сказал он. — Из-за этого болвана Галку погубим.

Но, видно, доброе начало в этом грубом на вид парне победило.

Он протиснулся в трещину, спрыгнул вниз, исчез из глаз. И тут же я услышал изнутри:

— Прыгай, тут недалеко.

Я послушался его. Каменная россыпь ударила по ногам, я ушибся, упав на бок.

Я зажмурился. Когда открыл глаза — вокруг была темнота. Еле-еле можно было угадать фигуру Жоры.

— Ты живой? — спросил он.

— Ничего, — сказал я.

— Тогда пошли. Нам надо вниз спуститься, его туда затащило.

Жора пошел вперед, я поднялся, последовал за ним.

— Ты за стену придерживайся, — сказал Жора. — Здесь стена есть.

И в самом деле справа была стена.

— Лестница, — предупредил меня Жора, и я угадал по тому, как его черная тень начала уменьшаться ростом, что он спускается вниз.

Я спускался следом, пацупывая ногой ступеньки.

— Осторожнее!

Одной ступеньки не было.

А вот и лестничная площадка.

— Никогда не подумаешь, что внутри есть такие пространства, — сказал я.

— Помолчи. Неизвестно, кто нас слушает.

— Кто здесь может быть? — сказал я, внутренне улыбнувшись: развалины не казались мне страшными. Дом как дом, старый...

Мы спускались по следующему маршу лестницы.

И в этот момент что-то горячее и быстрое ударило меня по шее. Я вскрикнул. И присел. Горячее давило, шевелилось — это было Живое.

— Ты что?

Мягкие, шерстяные пальцы ощупывали мои щеки...

Я попытался оторвать их от лица, а вторая рука непроизвольно шарилась по стене. Кончиками пальцев я нащупал выключатель и нажал на него.

Зажегся свет. Лампа под белым плафоном буднично освещала лестницу.

Горячие пальцы оторвались от моего лица — большая летучая мышь заметалась под потолком.

И исчезла...

Внизу стоял Жора, смотрел на пистолет.

— Мутант, — сказал он.

Я почувствовал страшный упадок сил и опустился на ступеньку.

Жора подошел ко мне, нагнул мою голову, осмотрел шею. Провел по ней пальцами.

Потом показал мне пальцы. Они были в крови.

— Вампир, — сказал он. — Хорошо, что свет загорелся.

— Вампир? — Мой голос звучал глухо, я его сам не узнал. Словно говорил какой-то старик.

— Думаю, он много не успел отсосать. Пошли.

— Там могут быть другие?

— Могут. Зря я тебя взял с собой. Если боишься, вылезай.

— А Лукьяныч?

— Вот именно.

Мы вышли в низкий длинный коридор. Он был освещен такими же белыми круглыми плафонами. Двери были закрыты. На полу толстый слой пыли. У стены стоял открытый ящик с разноцветными погремушками. Из-за двери слышалась стрекотня пишущей машинки.

— Жора!

— Я слышу, — сказал он. — Иди.

— Но там кто-то есть.

— Иди, тебе говорят!

Но я все же приоткрыл дверь.

Там была полутемная комната. Свет в нее пропихал из коридора. В разбитое окно потоком, достигая пола, вливалась груда кирпичца. На столе стояла пишущая машинка. Возле нее недопитая бутылка молока и кусок колбасы. Никаких других дверей в комнате не было. И ни одного человека.

— Не заходи! — Жора протянул руку, оттащил меня и захлопнул дверь. — Тебе жить надоело?

Сзади послышался треск. Я вздрогнул и оглянулся. Погремушки выпрыгивали из открытого ящика и падали на пол — как блохи.

— Идем, — сказал Жора.

В конце коридора была еще одна лестница.

В подвал.

Подвал был длинным и низким. Из труб капала вода, вода была на полу, по воде плавали широкие светло-зеленые листья кувшинок, но вместо цветов в воде покачивались колбы, наполненные розовой жидкостью.

— Лукьяныч! — позвал Жора.

В ответ — тишина. Мертвенная, угрожающая.

— Погиб он, — сказал Жора. — Зря мы сюда сунулись — сами не выйдем.

Но пошел дальше по подвалу, отбрасывая башмаками колбы и листья кувшинок.

В трубе что-то запело, будто там была заточена птица.

И тут мы увидели Лукьяныча. Он медленно и неуверенно брел нам навстречу.

Трудно вообразить себе облегчение и радость, которые я испытал при виде старшего вахтера.

— Лукьяныч! — и побежал к нему.

Тот услышал.

— Ну вот, — сказал он. — А я думал — крапты.

Труба, пересекавшая подвал под самым его потолком, вдруг изогнулась, разорвалась пополам, и на каждом торце образовалась зубастая безглазая морда. Морды повернулись к Лукьянычу.

— Ложись! — крикнул ему Жора. — Ложись, тебе говорю!

Но Лукьяныч растерялся или не услышал этого

крика. Он остановился, поднял руки и стал отмахиваться от морд.

Из морд поползли белые волосатые языки, они схватили Лукьяныча за руки, обвинили их и стали дергать, словно хотели втянуть в трубу.

Лукьяныч бился, пытался оторвать от себя эти белые языки и потом, прежде чем мы успели подбежать, как-то лениво и равнодушно опустил в воду — во все стороны поплыли, словно опасаясь коснуться его, листья кувшинок.

Языки втянулись обратно в морды, морды прикоснулись друг к дружке, и труба, словно так и положено, вытянулась под потолком.

Лукьяныч лежал в воде. Я приподнял его голову.
— Поздно, — сказал Жора.

Я поднял руки вахтера. Пульса не было.

— Пошли, — сказал Жора. — Кончился Лукьяныч.

— Нет, — сказал я, — мы не можем его оставить.

Я попытался поднять Лукьяныча, он был невероятно тяжелым, он выскользнул из моих рук и упал в воду.

— Жора, ну помогите же мне! — сказал я.

— Дурак, — сказал Жора. — Посмотри.

Лукьяныч быстро темнел, рот оскалился, показались нервные золотые зубы.

Сомнений не оставалось. Он был мертв.

Но оставить человека в подвале — это было выше моих сил. И Жоре пришлось буквально оттаскивать меня от тела вахтера.

Он вел меня прочь, к лестнице. И тут я услышал сзади голос Лукьяныча:

— Погоди... Щукин, погоди.

— Он живой! — крикнул я и вырвался из рук Жоры. Но, подбежав к Лукьянычу, я в ужасе замер.

Его широко открытые глаза были совершенно белыми. Более того, они были покрыты короткими белыми светящимися волосками. Лукьяныч смеялся. Он хотел дотянуться до меня, и я стал отступать — его пальцы, пальцы скелета, почти дотянулись до меня — и вдруг Лукьяныч кучей тряпья упал в воду и стал растворяться в ней.

Я не помню, как Жора вытащил меня оттуда...

Глава четвертая. Технолог Щукин

Я очень устал. И, наверное, потерял немало крови. Я хотел остановиться и отдохнуть, но остановиться было страшно.

Мы шли в лабиринте железных ящиков разного размера и формы. Ящики были ржавыми, они вздрагивали, и изнутри доносилось постукивание, словно кто-то просил выпустить его наружу... Стенка одного была выломана.

— Вырвались, — сказал Жора. — Теперь держись.

Я не знал, кто вырвался, и не было сил спрашивать.

Небо было синим, вечерним, и уже появились первые звезды. Где-то далеко летел самолет. Стены ящиков смыкались над головами, и мы шли по узкому извилистому ущелью.

Местность начала понижаться. Мы опускались в какую-то воронку.

Ящики кончились, но приходилось перебираться через завалы бревен, бревна были гнилые, между ними летали светлячки. Жора шел уверенно. Только один раз он остановился и замер, приложив палец к губам. Я тоже замер. Я уже понял, что единственное спасение — во всем слушаться сталкера. Я не могу сказать, что раскаивался в том, что отправился в этот несчастный поход. Я был за пределами страха и любопытства.

Мы стояли, ожидая, пока длинная вереница больших белых крыс перейдет нам дорогу. Крысы не обращали на нас внимания. Каждая из них тащила в зубах маленькую куколку. Последняя, совсем еще крысенок, видно, устала и уронила куколку на землю.

Когда крысы исчезли, Жора наклонился и поднял куколку.

— Посмотри, — сказал он, протягивая мне куколку.

Я, хоть было довольно темно, понял, что куколка изображала Лукьяныча, с мизинец размером, оловянного, раскрашенного, в кителе и фуражке.

— Быстро работают, — сказал Жора.

— Кто?

Но Жора не ответил. Он быстро побежал вперед, перед ним мелькнуло какое-то живое существо.

— Стой! — крикнул Жора, кидаясь вперед.

Раздался вой.

Я подошел. Жора лежал на земле, между бревен, навалившись телом на ободранную, худую собаку.

Собака повизгивала и вырывалась.

— Ты не видел здесь девочку? — спрашивал Жора у собаки.

Собака не отвечала. Только скулила.

— Ну и черт с тобой, — сказал Жора и отбросил собаку. Та кинулась в сторону.

Жора проследил, куда она побежала.

— За пей, — сказал он.

Нам пришлось перебраться через быстрый, пахнущий карболкой мутный ручей, пробраться сквозь завал картонных коробок, набитых тряпьем. Там была дверь. Из-за нее вырывался луч света.

Жора приоткрыл дверь, и странное зрелище представало моим глазам.

Вокруг низкого длинного стола сидело множество собак, ободранных, худых, во всем схожих с той собакой, которую поймал Жора.

Собаки смотрели, не отрываясь, на стол. Там, освещенные толстыми горящими свечами, бегали автомобильчики и паровозики. На большом блюде посреди стола — грудой блестящие украшения. Некоторые из автомобильчиков вдруг начинали толкаться, слабые падали со стола.

— Эй, — сказал Жора. — Кто видел девочку?

Собаки как по команде повернулись к двери. Одна из них зарычала.

И тут мы услышали далекий детский плач.

— Это она! — сказал Жора.

Он побежал через комнату с собаками, и те отступали, рыча. Я бежал за ним. Собаки нас не тронули.

Мы выскочили из воронки, и пришлось долго перебираться через расплзающиеся тюки с шерстью, потом по щиколотку в грязи шлепать в мертвом кустарнике, и неожиданно перед нами открылась грязная поляна, по краям которой было вырыто множество выгребных ям, источающих мрачное зловоние.

Посреди поляны возвышалось странное сооружение, похожее на башню рыцарского замка. И я не сразу сообразил, что это нижняя часть громадной фабричной трубы. В трубе была сделана дверь. Из нее на землю падал тусклый квадрат света. Оттуда и доносился детский плач.

Глава пятая. Сталкер Жера

Это был замок Сольвейга. Как его в самом деле зовут, даже он сам не помнит. Я — единственный живой человек, который его видел. В прошлом году я добрался до его башни. Это самая дальняя точка, до которой я забирался в Зону. Сольвейг тогда сказал мне, что озера Желания нету. И я ему поверил. Он знает.

Он его искал много лет.

Он сам себя называл Сольвейг. Я проверял. Есть такая опера, там Сольвейг прибегала к нему на лыжах. Но старик, наверно, спутал ее с соловьем. У него раньше был патефон. Но сломалась игла. Я обещал ему принести иглу, но не нашел — теперь их не делают.

Как же эта Галка добралась до старика? Здоровые мужики потибают, а она добралась.

У него в замке стоит золотой трон. Обшарпанный, правда, но золотой. Галку он привязал к трону. Она была чуть живая, рубаха в клочья, джинсы разодраны... Ох и напереживалась эта дура! А тут попасть в плен к маньяку!

Старик стоял перед ней. В одной руке банка со густым молоком. В другой гнутая алюминиевая ложка. Глаза дикие, ополоумевшие.

Она ела это молоко, вся физиономия в молоке, по распашонке, по лифчику течет молоко, джинсы в молоко, даже волосы в молоко — видно, она сопротивлялась вначале, мотала головой. А теперь уже ничего не соображает, только кричит иногда, как воет.

— Кушай, — говорил-скрипел старик. — Кушай, моя королева. Мне ничего для тебя не жалко.

Он совал ей ложку в рот, она старалась отвернуться, он топал ногами, сердился.

— Оставь Галку! — сказал я.

Он не сразу сообразил, что мы пришли. Потом испугался, кинулся в угол, схватил лом. Халат распахнулся, он под ним в чем мать родила, но жилистый. Он поднял лом и пошел на нас.

Я нагнулся, уклонился от лома и врезал ему в левую скулу.

А Щукни тем временем стал распутывать Галку, она только всхлипывала. Вокруг на полу валялись пустые банки, и весь пол — сплошная липкая белесая лужа.

Щукни скользил по молоку, я помог ему освободить

Галку, она не могла стоять, мы отнесли ее к старому дивану, на котором обычно спал старик. Пауки кинулись во все стороны. Пауки у него ручные, умеют танцевать, он мне сам показывал.

— Дядя Жора, — повторяла Галка, — дядя Жора...

Я открыл флягу с коньяком, заставил ее глотнуть. И тут же Галку начало рвать сгущенным молоком.

Я думал, что она помрет. Но ничего, через несколько минут отошла. Оказывается, старик ее кормил больше часа, банок пять как минимум в нее всадил. Он псих, он самое дорогое ей отдавал.

Пока мы откачивали Галку, старик очнулся, стал плакать, чтобы мы у него ее не отбирали.

Я поглядел наружу. Уже почти совсем стемнело.

— Будем ночевать здесь, — сказал я.

— Нельзя, нас ждут, — сказал мой технолог. —

Ее мать сходит с ума.

— Моя мать с утра пьяная, — сказала Галка.

— Ты хочешь остаться здесь?

— Нет, уведи меня, дядя Жора.

— А что тебя в эту дырку потянуло?

— Мне нужно было... нужно было озеро Желаний.

— Из-за мамы? — спросил Щукин.

— Из-за мамы? А зачем ей? Мне нужна любовь одного человека, — сказала Галка.

— Сколько лет этому человеку? — спросил я.

— Сорок. У него жена. Толстая, гадкая, я бы ее убила!

— Дура, — сказал я, — жалко, что пошел тебя вытаскивать.

Старик очнулся, стал просить, чтобы мы ему оставили Галку.

— Пошли, — сказал Щукин. — Уже поздно.

— И куда ты пойдешь? — спросил я.

— Обратно.

— Обратно мы не пройдем, — сказал я. — Даже днем мы чудом прорвались. Ночью погибнем. Хуже Лукьяныча.

— Отдайте мне королеву, — сказал старик с угрозой. — А то скоро Ночные придут. Они вас скушают.

— Это правда, — сказал я. — Пошли.

Мы вышли, старик бежал следом, просил, чтобы я отдал ему его лом. Но я оттолкнул его, а шагов через пятьдесят велел своим спутникам затаиться в остатках трансформаторной будки. И шепотом сказал им:

— Сейчас сидим тихо. Десять минут. Пускай он думает, что мы обратно пошли.

— А мы? — спросил Щукин.

— А мы пойдем дальше.

— А разве вы там были?

— Там никто не был. Но зато я знаю — на обратном пути нас точно убьют. А впереди — не знаю.

Они ничего мне не ответили. Они устали. Им было почти все равно. Я их понимал, мне самому было почти все равно. Только я упрямый. Я хотел, чтобы Галка все-таки вернулась домой.

— А кто этот старик? — шепотом спросила Галка. Видно, начала оживать. Они живучие, как кошки.

— Сумасшедший, — сказал Щукин.

— Он дезертир, — сказал я. — Так он мне сказал.

— Какой дезертир?

— В сорок первом здесь спрятался. А может, троцкист.

— А что же он ест?

— Сгущенное молоко, — сказал я. — В войну по пенд-лизу состав со сгущенкой шел, ветка недалеко, его в Зону затянуло, потеряли. А может, врут.

На груди защекотало. Я испугался. Может, ядовитое. Запустил руку за пазуху. Оказалось — зеленый глаз. Я выбросил его, он покатился к Галке. Она взвизгнула. Пришлось его раздавить.

Когда мне показалось, что все тихо, я повел их дальше.

Но незаметно уйти не удалось.

Раздался такой грохот, которого я в жизни не слышал.

Особенный, страшный, гулкий, будто тысяча человек принялись молотить по пустым бочкам.

Меня отшвырнуло, понесло... Кинуло на землю, погребло...

И, наверное, сто лет прошло, прежде чем я сообразил, что случилось: Галка наткнулась на край Великой пирамиды. Той самой, которую мне старик показывал в прошлом году. Она из пустых банок. Пятьдесят лет он жрет это молоко. Две, три банки в день. Простая арифметика — сколько банок? И всю эту пирамиду мы развалили.

С нами-то ничего страшного, если не считать первов. Но, конечно, мы переполошили весь этот скорпи-

онник. А места дальше мне незнакомые, самые древние, самые загадочные...

Мы бежали по колючкам и мертвому лесу, мы пробивались сквозь цветущие оранжевыми одуванчиками заросли медной проволоки. Сумерки еще не кончились, так что, к счастью, мы кое-что видели.

А может, не к счастью.

Галка и так была еле живая. И именно она натолкнулась на скелет. Весь разможенный, на черепе сохранились длинные волосы, обрывки джинсов и даже целочка на вывернутой шее. И Галка начала вопить — она этого парня знала. Хипповый парень, весной пропал. Значит, идиот, полез в Зону.

Галка начала снова рыдать, ее рвало, а по нашим следам уже шли Железные люди, заводные, без голов, раскрашенные. Хорошо еще, что у меня лом был, я отбивался, пока Щукин тащил Галку дальше.

Мы чуть было не погорели совсем, когда оказались перед ущельем. Я никогда и не слышал, что здесь есть ущелье. Без дна.

Как переползли на тот берег — до сих пор не представляю. Мы по паутине ползли. Двух пауков я убил. Третий половину волос у меня вырвал... Но ушли. И Железные люди отстали.

Но пауки позвали других на помощь.

Это, может, и не пауки — они плюшевые, желтые, ноги у них из пружин. Не прыгают, но качаются.

Они были осторожные, как шакалы, ждали, когда мы помрем или ослабеем. И видно было, что ждать им недолго. Я все надеялся, что Зона кончится, — но точно не знал, когда. Да и шли мы по Луне, по звездам. И уверенности не было.

Пауки загнали нас к бетонной стене. Не знаю, кто и когда ее поставил. Метра три, поверх колючая проволока. Надо было эту стену одолеть, но сил одолеть не было.

Мы сидели в рядок, прижавшись к стене спинами.

Пауки дежурили полукругом, тоже ждали, раскачивались, как один футбольный тренер.

И тогда я услышал, что за стеной стук. Быстрый частый стук. И я понял, что мы погибли — мы вышли к Бездне. Никто там не был, но некоторые слышали. Там работа всюю идет, как будто ничего не было, а кто работает, неизвестно... А может, это Сборный червяк, что еще хуже...

Тут пауки пошли в наступление.

Я встал, я один смог встать. Я поднял лом и начал махать им.

Пауки, улыбаясь беззубыми ртами, отступили. Глаза светятся, как тарелки.

Я с отчаяния размахнулся и ударил ломом по стене. От нее отлетел кусок бетона. Я стал с отчаянием рубить по стене — пускай бездна, но умереть от этих пауков куда хуже.

Я вошел в раж. Я бил, бил и ничего не слышал. Но когда Галка завизжала, я обернулся.

И увидел, что моего Щукина уволакивают пауки.

Они рвут его, тянут, а он почти не сопротивляется. Сам как тряпичная кукла.

Я кинулся на пауков, я дробил их ломом, мне уже было на все наплевать.

Они оставили Щукина. Он был без сознания. Я поволок его к стене, и пауки пошли за мной следом.

И тогда я снова набросился на стену.

Наверное, никогда еще во мне не было такой силы. Как последние сто метров в марафоне — а потом человек умирает.

Кусок стены выломился, выпал в ту сторону.

Лом провалился в дыру, звякнул там.

Теперь, даже если там ждет немедленная смерть, все равно другого пути нет. Мое оружие там.

Нае спасла Нога. Ее пауки боятся. Она вышла из темноты, скрипя суставами, сапог с меня ростом, из него торчит каменный палец. Пауки — в стороны. А Нога медленно попрыгала к нам, чтобы растоптать.

Я буквально вылезнул в дыру Галку, а потом вытащил Щукина.

Там был асфальт.

Я упал рядом с Щукиным. Галка лежала на мостовой.

За стеной скрипела Нога. Потом стало тихо. Я закрыл глаза.

Знакомое постукивание послышалось вдали. Все ближе и ближе...

Дребезжат, надвигаясь, Сборный червяк... Я начал шарить руками, хотел найти лом. Лома не было. Я поднялся на четвереньки и тут увидел, это не Сборный червяк, а к нам едет трамвай.

Обыкновенный трамвай, поздний, почти пустой. Я и не знал, что в Зоне есть такие места.

Пускай проедет. Это, наверное, трамвай-убийца.

Но трамвай не проехал. Он закрипел тормозами, останавливаясь. Где лом? Где лом, черт побери! Я же не могу его голыми руками!

Из трамвая выскочила женщина в синем сарафане. Она побежала к нам.

Это была Лариска, Галкина мать. Я ее всегда узнаю издали. Старая любовь. Хоть она теперь спилась, а у меня Людмила и Пашка, но от старой любви что-то всегда остается.

— Я прямо почувствовала! — закричала Лариска — и сразу к Галке.

А Галка начала плакать. Снова.

— Мама, я больше не буду! — Ну как маленькая.

И только тогда я понял, что над улицей горят фонари. Редкие фонари, обыкновенные фонари.

Я сел на тротуар.

Из трамвая вышел водитель. Колька Максаков, я его знаю.

Они с Лариской повели к трамваю Галку.

Надвинулись фары.

Это была директорская «Волга».

Директор первым подошел к нам. Он зачем-то пытался трясти мне руку. А мне было плевать... Я сказал, чтобы Щукина отвезли в больницу, он много крови потерял. Про Лукьяныча никто не спрашивал. Видно, и так поняли.

Директор приказал вызвать бригаду, чтобы заделать стену.

Глава шестая. Технолог Щукин

Меня выпустили из больницы на третий день. За это время я подготовил докладную о мерах по ликвидации заводской свалки, которая в настоящем виде представляет опасность для завода и окрестного населения.

Я напомнил в докладной, что наш завод построен еще до революции как фабрика механических игрушек немецкого фабриканта фон Бюхнера. Свалка родилась, когда завод разрушили в гражданскую войну.

К несчастью, вместо того, чтобы разобрать развалины завода и складов, решено было строить новые корпуса завода заводных игрушек имени Лассалья по соседству от разрушенных. А когда завод в двадцать пятом

сгорел, то, восстанавливая, его подвинули вновь. С тех пор свалка стала использоваться и некоторыми другими городскими предприятиями. Свалка приобрела самостоятельное значение, и постепенно завод отступал под ее напором, оставляя в ее владении подъездные пути и заброшенные склады. А свалка все росла и надвигалась; Было много постановлений о ликвидации свалки, как-то ее пробовали снести, но два бульдозера сгнули там, одного бульдозериста так и не нашли, второй вышел, но сошел с ума... В городе свалку начали называть Зоной и даже появились сталкеры... Теперь же завод отодвинут свалкой от Молодежной улицы на шесть километров, и никто толком не знает, что происходит внутри. Я писал, что свалка превратилась в замкнутую экосистему. В любой момент в ней может произойти качественный скачок и она нападет на завод или на Молодежную улицу, с которой граничит, отделенная лишь бетонным забором. Потому я потребовал, чтобы свалку немедленно разбомбили военной авиацией.

По выходе из больницы я подал докладную директору.

Он прочел ее при мне. И предложил уйти в отпуск. Сказал, что я заслужил отдых.

— А как же свалка? — спросил я.

— Тут у вас некоторые преувеличения. Но источник их понятен, — сказал директор. Он прятал глаза. — Нервы.

— Вы там не были! — кричал я. — Вы не знаете! Это страшно! Вспомните о судьбе Лукьяныча.

— Мы обязательно примем меры, — сказал директор. — Но вот насчет авиации вы преувеличиваете. Так что лечитесь, отдыхайте.

Директору два года до пенсии...

Глава седьмая. Из приказа № 176 по заводу заводных игрушек имени Фердинанда Лассалья

«...Исходя из вышензложенного, принять следующие безотлагательные меры:

1. Возвести за счет сэкономленных средств сбытсектора временное отраждение свалки со стороны цеха № 3.

2. Усилить охрану периферии свалки в почное время, для чего изыскать возможности увеличения штатов специализированной охраны на два человека.

3. Временно, вплоть до особого разрешения, прекратить посещение завода экскурсиями, а также запретить пропускование на территорию Предприятия представителей прессы, которые безответственными выступлениями могут дезориентировать общественность.

4. Принять к сведению постановление Местной организации Предприятия об обращении к Главному управлению заводных игрушек Министерства местной промышленности о выделении дополнительных ассигнований на приведение в порядок заводской территории.

5. Строго указать всему личному составу Предприятия о недопустимости распространения слухов касательно предположительного существования неопознанных явлений в районе заводской территории. С этой целью провести собрания в коллективах цехов и заводоуправления.

6. Ходатайствовать перед соответствующими организациями социального обеспечения об установлении повышенной пенсии вдове сотрудника специализированной охраны Варшавского Г. Л., как погибшего при исполнении служебных обязанностей.

7. Отметить сборщика Васюнина Г. В. премией в объеме двухнедельного оклада.

8. Предоставить заместителю главного технолога Щукину Н. Р. внеочередной отпуск для лечения.

Директор завода заводных игрушек
имени Фердинанда Лассалья».

ХОЧЕШЬ УЛЕТЕТЬ СО МНОЙ?

Я попал на Дарни по будничному делу — как бывший спортсмен, а ныне скромный агент Олимпийского комитета.

Участие команды Дарни в Гала-Олимпиаде не вызывало сомнений. Сомнения вызывал размер планетарного взноса в олимпийский фонд.

Встречали меня солидно, но скучно. В зале было жарко, под потолком суетились и щебетали рыжие птички, в кадках томилась чахлая деревца. По стене черным ожогом протянулась неровная полоса сажи.

В зал, опоздав к церемонии, ворвался, как бешеный слон, поседевший, раздобревший Син-рано, которого я встретил восемь лет назад в громадном, шумном и бестолковом Корае, на легкоатлетическом кубке. Там мы с ним оказались в одном гостиничном номере. Я выступал за Землю в прыжках в высоту, а он был одним из первых на Дарни толкателей ядра.

Встреча была такой, словно все эти годы мы провели в мечтах о ней.

— Ты живешь у меня, — сказал Син-рано, когда мы покидали космопорт. — Стены покрепче, чем в гостинице, хорошее бомбоубежище, ребята у меня надежные.

Слова Син-рано о бомбоубежище удивили меня. Впрочем, путеводитель не упоминал о войнах на планете, так что воспримем их как шутку. Но когда он затолкал меня на заднее сиденье своей машины, а сам уселся на водительское место, машина преобразилась: боковые стекла скрылись за металлическими шторками, а спереди осталась лишь узкая танковая щель.

— Не беспокойся, — сказал Син-рано.

В салоне пахло горячим железом и машинным маслом. Син-рано скинул пиджак. Под ним была перевязь с кобурой.

— Забавно, — сказал я. — Нигде об этом ни слова.

— Во-первых, — спокойно ответил Син-рано, — это местные неприятности, к тому же недавние. Во-вторых, такие события чернят репутацию. А малые пла-

неты очень чувствительны к своей репутации. Олимпийский комитет, узнай он об этом, отлучил бы нас от движения.

— Значит, войны нет?

— Нет, — сказал Син-рано. — Я бы не стал тебя обманывать. Вдобавок..

Он не успел закончить. Бронированное чудовище выползло на шоссе, наперерез движению. Наша машина вильнула и буквально прыгнула вперед.

Я не могу рассказать ничего интересного о дарнийских пейзажах, потому что любоваться ими сквозь танковую амбразуру сложно. Мы въехали в город; я догадался об этом по тому, что наше движение стало неравномерным — приходилось останавливаться на перекрестках, проталкиваться сквозь толкучку автомобилей. Вскоре мы окончательно застряли в пробке. И тут послышались нестройные выстрелы и крики. Впереди полыхнуло — там взорвалась бомба.

— Надо свернуть, — бормотал Син-рано. Машины вокруг сигналили, словно кричали, — это было похоже на пожар в театре, где в дверях застревает орущее скопище людей.

Внезапно стрельба стихла.

— Обошлось, — сказал Син-рано.

Мы подъехали к дому. Он стоял на склоне пологого холма, поросшего редкими деревьями. Между ними паслись коровы.

Нам пришлось довольно долго простоять перед высокой решеткой ворот, увитых поверху колючей проволокой. Накопец прибежал молодой человек, открыл ворота и сказал, что электричества в доме нет — Гирини взорвали электростанцию.

— Познакомься, — сказал Син-рано. — Мой друг с Земли, Ким Петров, я тебе о нем рассказывал. А это Рони, мой младший.

Парень смутился. У него были светло-желтые волосы и тонкая кожа в веснушках, он легко краснел.

...За столом, который стоял в полуподвальном помещении, — свет попадал туда через бойницы под потолком, мы сидели при свечах, — я познакомился с остальными членами семейства Син-рано. Старшего брата Рони звали Мипро. Мипро был худ, напряжен и преувеличенно аккуратен в движениях. Там же сидели два племянника и племянница по имени Нарини. Как сказал Син-

рано, они оспротели шесть лет назад, теперь живут с ним.

Что осталось в памяти от того обеда? Ярко-красные яблоки, которые мы ели на десерт, — у них был странный земляничным вкус. Неприятная манера Минро, старшего сына: он так долго и настороженно трогал вилкой кусочки мяса на тарелке, что казалось, он решал страшную проблему — отравят или не отравят. И еще я заметил, как хороша племянница Син-рапо Нарини. Она сидела молча между своими братьями и не смотрела на меня...

После обеда Син-рапо увел меня наверх, на плоскую крышу. Там было приятно — поднялся легкий ветерок, был виден весь город. Минут десять мы вспоминали прошлое, потом разговор перешел на олимпийские проблемы и с них должен был вот-вот скользнуть на явь планеты. Но не скользнул, потому что над городом серой башней поднялся столб дыма, на черном фоне которого искорками зажглись разрывы. На крышу прибежал Рони и сказал, что по радио передали: Понари пробилась на танках к цитадели Гинрици, но у них ничего не выйдет, на помощь Гинрини пришли все синие.

Столб дыма рос, в нем мелькали языки пламени. Пришел старший, брезгливый Минро, и сообщил, что полиция блокировала район, но внутрь не входит.

— Они всегда так, — сказал он. — Ждут, пока перебьют друг друга.

Представление грозило затянуться, и я решил погулять вокруг дома. Никто не возражал.

Под большим деревом была устроена спортивная площадка. Нарини прыгала в высоту. Прыгала хорошо, легко. Оба ее брата были рядом, они поднимали планку, когда надо. Мое появление они встретили настороженно, словно боялись, что я без их разрешения приглашу сестру в кино. Они были еще подростками, худыми, черноглазыми и злыми.

Я увидел, какая Нарини длинноногая.

— У вас замечательные данные, — сказал я.

Нарини смутилась. Она стояла передо мной, как напавшая девочка, ее серые глаза были почти на одном уровне с моими.

— Спасибо, — ответила она после паузы и поглядела на братьев.

— А какой у вас личный рекорд? — спросил я.

Брат справа ответил:

— Метр девяносто.

Второй дернул его за рукав.

— Это далеко до женского рекорда планеты?

— Женского? — удивилась она.

Неожиданно второй брат крепко взял ее за локоть и, не говоря ни слова, повлек к дому. Первый брат прикрывал тыл.

Кстати, я когда-нибудь видел на соревнованиях женщин с Дарни? И на космодроме среди встречавших не было ни одной женщины...

Я поднял планку, укрепил ее на двухметровой высоте. Когда-то я брал два с половиной, но теперь трешпуюсь редко, а когда тебе за тридцать, отяжелевшее тело плохо подчиняется ногам.

Разбежался, прыгнул и сбил планку. Раздобревший чиновник.

Я рассердился на себя и поднял планку еще на десять сантиметров. отошел подальше, к самому дереву. Бежать надо было по траве, только последние два метра были посыпаны песком. Я мысленно представил себе, что должен взять два двадцать.

Упал я неудачно, ушиб локоть о песок. Несколько секунд лежал в неудобной позе и глядел на планку, которая долго вздрагивала — я все же задел ее. Она думала, упасть ей или пожалеть бывшего спортсмена. Потом пожалела и замерла.

— Ты молодец, — сказал Син-рано, который наблюдал за мной, стоя за деревом. — Я иногда пробую толкнуть ядро и никому не говорю, что любой школьник меня бы обошел.

— Меня бы тоже. — Я поднялся, потирая ушибленный бок. — Твоя племянница, если будет тренироваться, прыгнет выше.

— Она способная девочка, — сказал Син-рано. — На Земле, попади она в руки хорошего тренера...

— Почему только на Земле? — Я обрадовался возможности задать вопрос, который помог бы понять, что же происходит на Дарни.

— Если я выпущу ее на стадион, — заметил Син-рано, усевшись на траву, — начнется такое...

Он улыбнулся, очевидно, представив себе, что же начнется.

— Ее родители погибли, — продолжал Син-рано. — Я взял детей к себе. У меня крепкий дом.

— А почему они погибли?

— Тебя гложет любопытство, — сказал Син-рано. — Наша жизнь, обыкновенная для нас, кажется тебе загадочной.

Я шел рядом с ним. Перед нами был склон холма, полого уходящий к изгороди. Там, вдоль изгороди, медленно шел Рони, за плечом у него был автомат. Иногда он останавливался, проверял контакты. Внезапно Син-рано вскочил с резвостью, которую трудно было предположить в столь грузном человеке, и кинулся к воротам. В руке его оказался пистолет. Он бежал пригибаясь, зигзагами. Рони упал в траву, сорвав с плеча автомат.

От дома, скатываясь по склону, бежали другие люди.

Из кустов, метрах в трехстах за изгородью, белыми ослепительными искрами вспыхнули выстрелы. За моей спиной бухнуло. Я обернулся. На крыше дома стоял миномет, он часто и мерно выпускал мины. У миномета виднелась светлая голова Нарини. Мины рвались в кустах, оттуда донесся топкий вопль. Рядом со мной упала на траву срезанная выстрелом зеленая ветка. Я считал за лучшее залечь позади дерева.

Выстрелы стихли через несколько минут. Я поднялся.

От ограды шли мои хозяева. Син-рано поддерживал Рони, который держался за плечо. Между пальцев сочилась кровь. Я побежал им навстречу, но Син-рано крикнул мне:

— Ничего страшного, возвращайся домой.

Его старший сын был уже за оградой, он искал что-то в кустах. Далеко, по дороге к городу, полз тапк.

Рони держался молодцом, он старался улыбаться.

— Я сам виноват, — сказал он мне доверительно. — Отец раньше меня их увидел.

— Кто это были?

— Из Гобров, — сказал Рони. — Я думаю, что одного снял.

— Его накрыла Нарини из миномета, — сказал Син-рано.

Сверху сбежала Нарини со своим братом, Син-рано передал им Рони.

— Пойдем проверим коровник, — сказал он мне. — Животные волнуются, когда стрельба.

В коровнике все было спокойно. Коровы мирно жевали сено и поглядывали на нас с недоумением.

— Почему они на нас напали? — спросил я.

— Все тайны, — сказал Син-рано, — имеют обыден-

ное объяснение. На нас напали для того, чтобы захватить Нарини.

— Зачем?

— Потому что она очень дорого стоит. Экономика, мой дорогой друг, лежит в основе любой романтики.

— Это красивый афоризм, но он ничего мне не говорит.

— Планета оказалась между каменным и атомным веками. Мы живем как на вулкане. Когда родители Нарини погибли, многие советовали мне отказаться от племянников и девочки. Но у меня своя гордость. Пока держимся.

— Что особенного в Нарини?

— Ничего.

— Кто-то влюблен в нее?

— Пожалуй, нет.

— Тогда я в тупике.

— Несколько десятилетий назад, — сказал Син-рано, — генетики сделали открытие, которое осчастливило многие семьи. Отныне пол ребенка родители могли заказать заранее. Ты слышал об этом?

— Разумеется, — сказал я.

Мы вышли из хлева. Солнце уже село. Над столбами, между которыми тянулась решетка, зажглись сигнальные огоньки. На крыше дома вспыхнул прожектор, и луч его медленно полз по ограде.

— Десяносто процентов молодых родителей хотят, чтобы у них родился сын. Их желание было исполнено. Через несколько лет мальчиков на планете рождалось вдесятеро больше, чем девочек. Мы думали, что это открытие приведет к радости...

«Как странно, — подумал я. — Ученый спешит опубликовать открытие, чтобы осчастливить человечество, и пробуждает к действию слепые стихийные силы».

— Еще в моей молодости, — продолжал Син-рано, — женщин хоть и было вдвое меньше, чем мужчин, это тревожило, но не казалось катастрофой. Принимались разумные законы, вводились ограничения, но общество уже катилось к упадку.

— Женщин стало мало, рождаемость падала, женщина стала превращаться в ценность, — подсказал я.

— И все более теряла права личности, — закончил Син-рано. — Теоретики утверждали, что процесс скоро прекратится. Они ошиблись. Своих женщин надо защи-

щать. Чужую женщину надо добыть. Пужпы мужчины, солдаты, воины...

— А ты, — спросил я, — почему у тебя только сыповья?

— Я — песчинка в океане людей, — сказал Син-рано. — Мы с женой понимали, что если у нас родится девочка, ее отнимут. У нас родились два сына, два защитника. Теперь у нас будет девочка, решили мы. Но мою жену украли. Я нашел ее слишком поздно, она не хотела быть рабой в доме чужого клана.

— А родители Нарини?

— Мой брат хотел пойти против течения. У него было три дочери и два сына. Слишком большое богатство для человека, не признававшего законов каменного века. Он жил в городке института, они не подчинялись реальности. Там было много девочек. Городок взяли штурмом войска четырех кланов. Я не знаю, где сестры Нарини. А она сумела убежать и увести братьев.

— Без нее было бы проще? — спросил я.

— Есть дома, — усмехнулся Син-рано, — на которые не нападают. Там нет женщин. Но ты забыл о судьбе моей жены. Я не хочу, чтобы это повторилось.

Над вечерним городом полз дым, иногда раздавались одиночные выстрелы. Полосы от трассирующих пуль очертили небо.

Я поднялся на крышу дома. У миномета дежурила Нарини и один из ее злых братцев. Они тихо разговаривали. Я подошел к балюстраде. В городе было мало огней, он спал настороженно и чутко. Лучи прожекторов время от времени вспыхивали в разных его концах и пробегали по крышам, стенам и заборам.

Нарини подошла ко мне.

— У вас девушки занимаются спортом, — сказала она утвердительно.

— Пожалуй, даже больше, чем нужно, — ответил я.

Яркая луна освещала ее чистое лицо, глаза казались темными, почти черными, настойчивыми и глубокими.

Мы помолчали.

— Как себя чувствует Рони? — спросил я.

— Это только царапина, — сказала девушка. — Брата в прошлом году ранили так, что мы думали — придется отнимать руку.

Брат подошел ближе, слушая наш разговор. Он не выпускал из рук бинокля.

— Здесь плохо, — сказала Нарини, подняв голос,

когда ее брат, встревоженный каким-то шумом у изгороди, кинулся к прожектору и включил его.

— Я это понял, — тихо сказал я.

Это было странное чувство — словно мы с Нарини давно знакомы и можем говорить обо всем, сразу понимая друг друга.

— Син-рано устал, — сказала Нарини. — Он человек долга и памяти. Когда сегодня ранили Рони, мне казалось, будто это я ранила его. Он должен учиться, но остался здесь, потому что надо охранять дом.

— А выход? — спросил я.

— Меня можно продать. Хорошо продать в сильный клан.

— Мы будем защищать тебя, — сказал ее брат. — Ты знаешь, мы погибнем, но будем тебя защищать.

— Я не хочу, чтобы вы погибали, — сказала Нарини.

— Но почему ничего не делается?

— Делается, — ответила Нарини. — Есть институт, где детей выращивают в прорбирках. Там уже родились первые девочки. На них тоже нападали. Даже маленькие девочки — добыча.

— Это изменится, — сказал я уверенно.

— Это изменится, — согласилась Нарини. — Но для меня... для меня будет поздно.

— Хотите, улетим со мной? — спросил я.

Я не шутил в тот момент. Но это не было предложением. Нужен был выход, и я предложил единственный, который мог придумать.

— Спасибо, — сказала Нарини.

Стояла тишина, в которой я слышал быстрое и злое дыхание ее брата.

К ночному разговору пришлось вернуться на следующий вечер. Но разговаривал я с Минро, старшим сыном, все движения которого были преисполнены брезгливостью, словно у старой девы, попавшей нечаянно в постельку. Случилось это так.

Я вернулся из Олимпийского комитета, где разговоры были томительны и осторожны. Сумма, которую следовало перевести на наш счет, казалась дарницам завышенной, и мне стоило большого труда доказать им, что значительная ее часть вернется на планету по программам помощи.

В тот день в городе совсем не стреляли, и я прогулялся по главной улице, среди магазинов, витрины которых мгновенно закрывались бронированными жалюзи, как

только начиналась перестрелка. Вдоль тротуаров тянулись щели для пешеходов.

По улице шли только мужчины, по делам. Никто не гулял. Это был осажденный город, почти загубленный прогрессом.

Меня довели до дома на небольшом броневишке. У ворот меня встретил Минро. Он молчал, пока мы шли к дому, и разглядывал свои ногти.

— Мне это не нравится, — сказал он, когда дверь в дом закрылась. — Вы кружите голову девушке.

— Не понял.

— Вы сказали, что она улетит с вами.

— А что в этом плохого? — спросил я.

До того момента ночной разговор на крыше был не более как словами, никого ни к чему не обязывающими. Была фраза, сказанная невзначай, рожденная самим течением разговора.

— Она сказала об этом старику, — сообщил Минро, вытирая носовым платком указательный палец. — Ваша глупая шутка...

— Почему вы считаете меня глупым шутником?

— Зачем вам эта девушка?

— Ей будет лучше в другом месте, — сказал я. Противодействие облекало случайную фразу в реальные одежды. — Она сможет нормально жить и учиться. Через полгода она уже будет брать два метра, вы знаете?

— Где брать? — не понял меня Минро.

— Она прыгает, любит прыгать в высоту.

— Не знал. — Минро начал протирать средний палец. Я не мог оторвать глаз от мерных движений его руки. — Но не в этом дело. Нарини живет у нас несколько лет. Наша семья потратила на ее охрану столько, что всем нам можно было купить жен. Из-за нее мой младший брат не получил образования. И тут появляетесь вы. Что у вас, своих женщин мало?

— Очень много, — сказал я. — Даже больше, чем нужно.

— Я предупреждаю, что не позволю вам увозить Нарини. Ее передадут сильному клану. Там у нее будут замечательные, богатые мужья.

— Мужья?

— Разумеется. Разве вам не говорили, что полиандрия у нас официально признана?

— А она об этом знает?

— О полиандрии? Разумеется.

— И знает, что вы договорились продать ее?

— Еще узнает, — сказал Минро. — Я забочусь о ее безопасности и о безопасности моей семьи. Отец выжил из ума. А вы не смейте больше разговаривать с Нарини. Я вас пристрелю.

— Спасибо за предупреждение, — сказал я и пошел к себе.

Минро не знал, что выбрал для разговора со мной самый неудачный тон. Мне нельзя угрожать. Из-за этого я претерпел немало неприятностей, но любая угроза заставляет меня поступать наоборот.

Не могу сказать, что в тот момент я уже полюбил Нарини. Мне было приятно смотреть на нее, интересно разговаривать с ней. Я хотел ей помочь. Но любовь... Она могла возникнуть, могла и миновать меня. Кстати, и Нарини тогда меня не любила, но я мог изменить ее жизнь. И снять бремя с близких.

Нарини встретила меня у моей комнаты. За ней тенью брел ее младший братец.

— В нашем доме нельзя секретничать, — сказала она. — Я слышала, что вам говорил Минро.

В коридоре горела тусклая оранжевая лампа. Оттого в голосе и движениях Нарини мне чудилась тревога, которой, может, и не было.

— Вы хотите улететь со мной? — спросил я.

Она молчала.

— Пойдем, — сказал ее брат. — Пойдем спать.

— Да, — сказала Нарини, глядя на меня в упор.

Когда теперь я отсчитываю время нашей любви, я начинаю отсчет с этого взгляда.

Син-рано не спал. Мы пошли к нему. Он сидел в широком кресле, седая грива была встрепана.

— Знаю, знаю, — сказал он сварливо. — Ты как камень, брошенный в спокойный пруд. Только наш пруд беспокоен.

Сыновья его вошли в комнату вслед за нами.

— Дядя, — сказала Нарини. — Ким хочет, чтобы я летела с ним. Я согласна. Вы будете жить спокойно.

— Мне жаль, если ты улетишь, — ответил Син-рано. — Но я рад.

— Спасибо, дядя, — сказала Нарини.

— Я не допущу этого, — вмешался Минро. — Мой брат, — он показал на Рони, — пролил кровь. За кровь надо платить.

— Я так не думаю, — сказал Рони и покраснел.

— Вчера на нас напали люди Гобров. — Син-рано пристально глядел на Минро. — Кто их привел?

— Я их не звал.

— Получается гладко, — сказал Син-рано. — Они уводят Нарини, ты не виноват, а деньги твои.

— Я оскорблен, — сказал Минро, брезгливо морщась.

— И не пытайся помешать им улететь, — предупредил отец.

— А мы? — спросил один из братьев Нарини. Его худое лицо посерело.

— Вы будете жить в моем доме. Как прежде, — ответил Син-рано.

В тот вечер я больше не говорил с Нарини. Нам было неловко под настороженными взглядами домочадцев.

Утром Син-рано отвез меня в Олимпийский комитет. На заднем сиденье машины сидел Рони с автоматом. Син-рано был напряжен и молчалив — какой отец хочет сознаться в том, что опасается собственного сына?

Опасения Син-рано оправдались.

Нас подстерегли у касс, куда мы заехали из Олимпийского комитета, чтобы взять билеты на завтрашний корабль. Я не сразу сообразил, что произошло. Мы выходили из здания. Рони ждал нас у машины. Он стоял, прислонившись к ней спиной так, чтобы автомат не был виден, — он не хотел нарушать запрета на ношение оружия. Син-рано оглядел улицу в обе стороны и сказал:

— Идем.

Была середина дня, улица залита резким солнечным светом, прохожих не видно.

Я шагнул к машине, и тут же Син-рано рванул меня за руку и уложил на асфальт. Послышался мелкий дробный звук — пули бились о машину и стену дома. Рони упал на тротуар рядом с нами и, падая, открыл стрельбу.

Затем Син-рано втолкнул меня в машину, сын прыгнул за нами, и машина сразу взяла с места. За нами гнались, пули ударили в заднюю бронированную стенку, но мы удрали.

— Я не совсем еще сдал, — сказал Син-рано. — Как я тебе, а?

— И вам нравится такая жизнь? — спросил я, прикладывая платок к разбитому лбу.

— Может быть, — вдруг рассмеялся Син-рано.

Старшего сына дома не было. Он не вернулся до темноты.

Дом жил, как осажденная крепость в ожидании штурма. На закате подъехал броневик, в нем были друзья Син-рано, четверо могучих мужчин. Они вели себя как мальчишки, которым позволили поиграть в войну.

Нарини собрала небольшую сумку — мы не могли обременять себя багажом.

— Ты не передумала? — спросил я.

Она посмотрела на меня в упор.

— А ты?

— Тогда все в порядке, — сказал я.

В комнату зашел один из братьев Нарини. Он был расстроен, но старался держаться.

— Броневик отходит ровно в час ночи, — предупредил он.

— Если захочешь, — сказал я ему, — можешь прилететь к нам на Землю.

— Видно будет, — ответил он и посмотрел на сестру.

Штурм дома начался с темнотой. Это походило на приключенческое кино. Трассирующие пули вили в небе разноцветную сеть, мины рвались на лужайках и в кустах, коровы отчаянно мычали в хлеву. Полиция прибыла через час после начала боя, когда нашим уже пришлось ретироваться на крышу. Нападающих было много, и они не хотели отступить даже перед полицией.

Именно тогда, в полной неразберихе, Син-рано и осуществил свой план. Броневичок, на котором нам предстояло удрасть, был спрятан за сараями. Кроме нас, в нем был только один из братьев Нарини. Остальные держали оборону.

Син-рано похлопал меня по плечу и сказал:

— Жду вестей.

Броневичок был легкий, верткий. Он выскочил за ворота и пошел к городу.

Враги слишком поздно заметили наше бегство. Нарини отстреливалась из пулемета в башне. Перед моими глазами были ее коленки в жестких боевых брюках, она отбивала пяткой какой-то странный ритм, совпадающий с ритмом очередей. Я не мог отделаться от ощущения, что все это ненастоящее.

Потом мы ехали несколько минут в полной тишине. Нарини наклонилась ко мне и спросила:

— Ты как себя чувствуешь?

Это были ее первые слова, которые в своей буднич-

ности устанавливали между нами особую связь, возникающую между мужчиной и женщиной, когда они вдвоем.

— Спасибо, — сказал я и пожал протянутые ко мне пальцы.

У космодрома мы попрощались с братом Нарини. Он старался не плакать.

Все было рассчитано точно — уже кончалась регистрация, и мы сразу оказались в корабле. Когда он поднялся, я вдруг понял, что страшно голоден, и зашел к Нарини — ее каюта была рядом с моей. Нарини сидела на койке, устремив взгляд перед собой.

— Хочешь есть?

— Есть? — Она осознала вопрос, улыбнулась и сказала: — Конечно. Мы же с утра не ели.

Я впервые увидел, как она улыбается.

В полете мы много разговаривали. Мы привыкали друг к другу в разговорах. И, расставаясь с ней на ночь, я сразу же начинал тосковать по ее голосу и взгляду.

Потом была пересадка. Этот астероид так и зовется Пересадкой, никто не помнит его настоящего названия. Тысячи людей ждали своих кораблей. Мы получили космограмму от Син-рано. Все обошлось благополучно, только Рони угодил в больницу, его снова ранили. Старший сын вернулся домой утром. Теперь он будет жить отдельно.

Я представил себе его безразличное лицо и платок, вытирающий указательный палец.

Там же меня ждало послание от моих тетушек. Их у меня пять, и все меня обожают. Я показал телеграмму Нарини.

Пять тетушек?

Она не могла привыкнуть к зрелищу многочисленных женщин, что так свободно гуляли по залу Пересадки. Мысль о существовании нескольких женщин в одном доме была для нее невероятной.

— А дяди у тебя есть?

— С дядьями у меня туго, — сказал я.

— Почему? Твои тетушки некрасивы?

— Когда-то были красивы.

— Они не любят мужчин?

Я пожал плечами. Мои тетушки любили мужчин, но им не повезло в жизни.

Я спрятал в карман еще четыре космограммы.

— А это от кого? — спросила Нарини. — Тоже от тетушек?

Женщина очень быстро чувствует ложь даже не в словах, а в движениях мужчины.

— Это от моих невест.

— Ты шутишь?

— Почти.

— Ким, ты должен мне объяснить, что происходит. Ее глаза порой могут метать молнии.

— Понимаешь, прогресс повторяет некоторые свои причуды... Когда-то, в восьмидесятых годах двадцатого века, и у нас на Земле, в Японии, изобрели способ по желанию определять пол будущего младенца. Ведь ты не думаешь, будто Дарни исключение?

— Значит, у вас то же самое?

— То же самое не бывает, — сказал я. — Но когда родились первые «заказные» дети, когда эта процедура стала доступной, многие молодые семьи захотели, чтобы у них родился...

— Мальчик, — сурово сказала Нарини.

— Началось демографическое бедствие. За несколько десятилетий состав населения Земли резко изменился.

— Не объясняй, знаю.

— Мужчины стали значительным большинством населения. Падала рождаемость. Произошли неприятные социальные и психологические сдвиги. Однако мы спохватились раньше, чем вы. Было запрещено пользоваться этим методом. На всей Земле. С тех пор мы живем... естественно.

— Но почему тетушки, невесты... ты не договариваешь.

— Понимаешь, природа не терпит насилия. Она защищается. И когда «заказные» дети были запрещены, обнаружилось, что естественным путем у нас рождаются девочки. На каждого мальчика три-четыре девочки. Сегодня на Земле женщин вдвое больше, чем мужчин.

— И что же происходит? Мужчины продают? Отвоевывают?

— Нет, зачем же. Сейчас новорожденных мальчиков лишь на двадцать процентов меньше, чем девочек. Полагают, что лет через десять баланс восстановится. Но пока...

— Пока мы летим, чтобы меня убили твои невесты, — без улыбки сказала Нарини.

— Никто тебя не убьет.

Нарини молчала. Я молчал тоже, потому что вдруг понял, что я — обманщик. Почему я не сказал об этом раньше?

— Я не лечу на Землю, — сказала наконец Нарини.

— Куда же нам деваться?

— На любую планету, где всех поровну.

Мы пробыли на Пересадке лишних два дня, все это время я ходил вслед за Нарини и уговаривал ее рискнуть. В конце концов она согласилась.

С тех пор мы живем с ней в Москве. Мы счастливы.

У нас есть сын и дочь.

Мои тетушки приняли Нарини, они в ней души не чают. Раньше они никак не могли сойтись во мнении, какая невеста мне более подходит. Нарини разрешила их споры.

Нарини очень занята. Она председатель межпланетной организации «Равновесие». Когда я называю эту организацию брачной конторой, Нарини обижается.

РАЗУМ ДЛЯ КОТА

Если я долго не встаю, Мышка подходит к кровати и, зацепив когтями одеяло, осторожно тащит его на себя. Это первое предупреждение. Чаще всего я игнорирую первое предупреждение. Тогда он добирается до руки и дотрагивается лапой. Рука тоже не откликается. Приходится переходить к жестким мерам. Мышка выпускает когти и будит руку всерьез. В конце концов я, конечно, просыпаюсь. Мышка своего добьется.

Я поднимаюсь, ругая кота, он благодарно трется бакебардами о мои голые колени и усаживается посреди комнаты, пока я оденусь и постелю постель. Затем он несетя к двери уборной, указывая мне правильный путь, потом ждет меня в дверях ванной. Только тогда идет на кухню. Но не к своей тарелке, это было бы слишком просто, а Мышка не позволяет себе попрошайничать — это оставим для простых котов.

Мышка сидит у холодильника и глядит на меня. Только глядит. Он верит, что я не оставлю его помирать с голоду. Да и получив свою утреннюю рыбу, Мышка не бросается жадно к тарелке. Он сначала постойт рядом, глядя на меня, словно мысленно считает до десяти.

Вечером, когда приходят с работы, Мышка сидит на кресле в большой комнате — оттуда лучше слышно, как поднимается лифт. По шагам он знает, кто идет. Сколько раз я видел, как Мышка, услышав лифт, не двигается с места, если к двери подходит чужой, скажем, не кормилец. Но если идут свои, Мышка опроретью летит к двери и садится так, чтобы его не задело, когда дверь отворится. При виде родственника — а Мышка глубоко убежден, что мы представляем собой стаю, в которой ему отведено хоть и не самое главное, но почетное место, — Мышка изображает красивого кота, для чего он растягивается на полу во весь свой солидный рост и начинает кататься и принимать элегантные позы. Если очень соскучился по людям за день, будет кататься долго и энергично, но если до того кто-то уже пришел и кормил его, то перевернется разок из вежливости и замрет.

Мышка странно молчалив для кота. Я его подобрал

беспризорным котенком. Некому было учить его мяукать. А так как дома к нему относятся скорее как к собаке, чем к коту, то он и ведет себя, как собака.

Когда ко мне пришел Свер-ди, Мышка даже не поднял головы, а лежал в кресле, прижав голову к сиденью, и внимательно разглядывал в дверь прихожей ломкого, сутулого инопланетянина, отлично понимая, что это очень чужое существо. Свер-ди снял сапоги, вытащил из сумки своего секретаря — большую мохнатую ящерицу по имени Диприда, посадил ее на плечо, прошел в большую комнату и сел на диван, в метре от Мышки.

Я боялся, что Мышка нападет на Диприду. Та тоже этого боялась и потому сидела напряженно и часто мигала. Но Мышка рассудил, что Диприда — не животное и территорию от нее охранять не надо. Спать он себе после этого не позволил, глаз не закрывал и даже показывал неудовольствие, подрагивая кончиком пушистого хвоста. Но не более того.

Мы со Свер-ди обсуждали свои научные проблемы, а через полчаса пришла Алиска. Услышав, как она вышла из лифта, Мышка прыгнул с кресла, перепугав Диприду, которая даже уронила компьютер, и уселся у двери. Затем он выдал сцену «красивое животное встречает долгожданную хозяйку» в полном объеме. Свер-ди смеялся, Диприда подобрала компьютер и тоже изобразила улыбку.

— Еще один шаг, и он станет человеком, — сказал Свер-ди.

— Я часто жалею, — сказал я, — что Мышка не может говорить.

— Или писать, — сказал Свер-ди.

Мышка понесся на кухню впереди Алисы.

— В то же время в нем живет отсталое дитя, — сказал я. — Он делает глупости. Рвет когтями диван, вчера чуть не грохнулся с балкона, охотясь на голубей. Говоря высокопарно, силой любви невозможно сломить барьер непонимания.

Диприда кивнула. Она это понимала.

— Что ж, — сказал Свер-ди, — еще недавно я мог бы сказать то же самое о моей Диприде. Помнишь?

Диприда кивнула и даже попыталась улыбнуться, что у нее не очень получилось, так как рот ящерицы не приспособлен для улыбки.

— Я был счастлив, когда изобрели эпцелостимулятор. Он был предназначен для людей. И действие его

оказалось удивительным. В течение года в школах не осталось отсталых детей. Должен признаться, что я никогда бы не стал профессором и никогда бы не прилетел к вам на Землю, если бы не стимулятор.

— Я читал, — сказал я.

— Сейчас его уже начинают употреблять у вас.

— Знаю, — сказал я.

— Первой моей мыслью было: а что, если я смогу помочь моей Диприде? Она жила у нас давно, мы любили ее, но домашнее животное — это домашнее животное. Мы называем порой зверей друзьями — это уступка любви. Дружить можно только с себе подобными.

Свер-ди погладил Диприду по мохнатому гребню, Диприда кивнула и начала что-то набирать на клавиатуре компьютера.

Вернулся Мышка. Видно, он поспешил с ужином, чтобы не оставлять меня одного в комнате со странными гостями. Совершенно по-собачьи, увидев свой мячик, забытый под столом, он схватил его и быстро унес в угол, за стопку книг, спрятал игрушку.

— Если хочешь, я тебе завтра принесу палюли, — сказал Свер-ди. — Совершенно безопасны, опробованы на миллионах живых существ.

— Спасибо, — сказал я.

Мышка выглянул из-за книг. Ему хотелось поиграть мячиком, но гости все не уходили, и не исключено было, что они отнимут мячик, если тот слишком близко к ним подкатится.

— Алиска, — позвал я. — Ты знаешь, что завтра Мышик станет умнее меня и почти такой же умный, как ты?

Алиска мыла посуду и пришла в комнату не сразу. И не сразу поняла, какие светлые перспективы открываются для нашей стаи.

— И что он будет делать? — спросила она.

— Мышей ловить, — ответил я неумно.

— А в самом деле?

— Девушка, — сказал Свер-ди, — у нас с вами есть изумительный пример стимуляции мозговой активности — моя любимая Диприда. Диприда, скажи Алисе — ты счастлива?

Диприда поглядела на Алису, на Мышку, который принялся от нечего делать развязывать шнурки на моих ботинках, потом ловким движением лапки набрала текст на клавишах компьютера, с которым никогда не расста-

влась На экранчике возникли слова: «Разумеется. Я была животным, а стала почти человеком».

— Умна, мое сокровище, — сказал Свер-ди. — Ты обратил внимание на слово «почти»? Она имеет в виду невозможность говорить. Правда?

«И это тоже», — набрала текст Диприда.

Мышка встал на задние лапы, потянулся к экрану компьютера — ему понравилось, как вспыхивают буквы.

— Потерпи, — улыбнулся Свер-ди. — Завтра ты сможешь это сам. Не кормите его на ночь, — обратился гость к Алисе. — Средство надо принимать натощак. Иначе не подействует. А лучше дать слабительное.

Потом он велел Диприде отпечатать синопсис нашей беседы, чтобы я его заверил, а он передал своему руководителю. Лапки ящерицы летали над клавишами.

— А что она делает, когда не работает? — спросила Алиса.

— Что? — Свер-ди немного удивился, но не стал обращаться с этим вопросом к Диприде, чтобы не отвлекать ящерицу от дела. — Читает. Иногда. Думает. Спит, ест — живет.

— А другие ящерицы?

— Ты хочешь спросить, есть ли среди них умные? — переспросил Свер-ди.

— Да.

— Это им не по карману. Может, через несколько лет...

— А сколько живут эти ящерицы?

— До двадцати лет, — сказал Свер-ди. — Но моя еще молодая. Ей пошел восьмой год.

— У нее есть дети? Друзья?

— У нее есть я. У нее есть пища для размышлений.

Диприда перестала печатать. Она смотрела на Алису.

Свер-ди начал собираться. Он надел сапоги, спрятал ящерицу в сумку. Напомнил, что кота не надо кормить.

Через час, а может, больше, я вспомнил, что давно не видел Мышку. Странно, я завтра скажу ему, что на улице шесть градусов мороза, а он кивнет... Надо будет купить для него миниатюрный компьютер. И можно будет снять с окон бадминтонную сетку — разумный кот не прыгнет сдуру с восьмого этажа за пролетающей птешкой.

Я прошел на кухню.

Кот сидел у своей миски и лениво, из последних

сил, жевал громадный кусок свиной вырезки, которую я купил утром совсем не для кота.

Алиса стояла над ним и редела. Молча, только слезы по щекам.

— Что здесь происходит? — спросил я. — Ты забыла, что средство действует натошак?

— Мышку жалко, — сказала Алиса. — Может, ты передумаешь?

— Ты с ума сошла, — сказал я. — Мы имеем возможность оказать невероятное, сказочное благодеяние нашему коту. Он будет самым настоящим членом человеческой семьи. Понимаешь, какое счастье — ты ему рассказываешь, что с тобой произошло за день, а он тебе то же самое рассказывает.

— И что с ним произойдет за день?

— Не важно.

— Важно. Ты из него хочешь сделать человека?

— Я хочу, чтобы он стал разумным существом.

— В шкуре обыкновенного кота?

— Внешность — не главное.

— Это не только внешность. Отец, подумай — ты мог бы жить в шкуре кота? С твоими интересами? С твоим желанием общаться, читать, путешествовать, спорить, говорить?

Алиса подняла кота на руки, и тот не спорил — он был так сыт, что мясо вызывало в нем отвращение, подобное тому, что испытывает к концу дня кондитер, съевший на пробу триста пирожных. Кот смотрел на меня большими, тупыми от сытости, бессмысленными глазами, потом пристроился получше на теплых руках Алисы и блаженно задремал.

Когда на следующий день пришел Сверди со своими пилюлями, мы с Мышкой были заняты очень интересным делом. Я шел по коридору, делая вид, что не знаю, где кот. А кот бросался на меня сзади из засады под диваном, бил с ходу лапой, а когда я оборачивался, стремглав, изображая ужас, несся под диван прятаться.

— Скажи дяде: нет, спасибо, — приказал я коту.

Кто лег на спину и, вытянувшись, перевернулся, показывая белое пушистое пузо.

— Мы решили остаться очень красивым животным, — сказал я за кота. Тот ничего не понял и гордо пошел на кухню, проверить, не появилась ли в тарелке пища.

ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! ТРЕВОГА!

1

Высокий, стройный, несмотря на свои сто двадцать лет, верховный координатор Дальней разведки широкими шагами пересек полутемный зал космической связи. Техники безмолвно поднялись при его приближении. Огоньки на пультах тускло отражались на серебряном мундире координатора. Безмолвное напряжение опустилось на зал. В тишине, подчеркиваемой шепотом самописцев и тихим жужжанием самонастройки, голос координатора прозвучал громом:

— Канал срочной связи, — произнес он.

От легких и быстрых движений техников ярче загорелись экраны. Мигнула мириадам огоньков схема готовности.

— Код? — спросил первый техник.

— Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Все каналы свободны, — сказал второй техник.

Координатор опустился в кресло. Его рука в черной перчатке на секунду замерла над пультом, прежде чем набрать известные лишь координатору цифры...

Палец решительно опустился на пульт, коснулся первой цифры...

2

Зарево вулканов окрашивало небо в грозный, багровый цвет. Иногда по непрочной еще коре планеты прокатывалась волна землетрясения. Вездеход по касательной опустился возле висящего над черным камнем пузыря станции.

Усталый разведчик тяжело прыгнул на пиритовую плиту, скафандр особой защиты делал его похожим на старинного робота.

Мягко открылся люк, приглашая Свиридова войти в уют и безопасность станции.

Лишь одна мысль, одно необоримое желание заполнили мозг и тело разведчика — спать...

Натруженными руками он снял шлем. Растер жестки-

ми пальцами глубокий красный шрам, пересекающий щеку. Взглянул в зеркало. «Сколько тебе лет, старина?» — спросил он свое изображение. Изображение сощурилось в ответ. Лицо было молодо, но глубокие складки у губ, щетина на подбородке, мешки под глазами мешали поверить, что ему лишь завтра минет тридцать.

Струи дезинфицирующего душа ударили по плечам и животу. Но не принесли свежести и облегчения. Свиридов был по ту сторону усталости.

Переодевшись в шорты и голубую домашнюю накидку, Свиридов прошел на Центральный пункт. Ирида коротко взглянула на него. Изображения на экранах зашатались, заваливаясь вправо.

— Что, трясет? — сказал Свиридов.

— Поспи, — сказала Ирида, обратив на него пристальный немигающий взгляд сирянки. — Три часа. Потом снова на вахту. Возможен взрыв па склоне Пленицы. Надо будет эвакуировать оборудование.

— Три часа? — спросил Свиридов.

— И ни минутой больше.

Свиридов сказал себе: три часа — это вечность, это спасение...

Неожиданно вспыхнул экран внутреннего оповещения.

Зеленое лицо второго исследователя, увеличенное втрое, так что видна была каждая чешуйка на лбу и хоботе, смотрело на Свиридова.

— Никита, — сказал Второй. — Экстрасрочная с Земли. Тебе.

Лицо исчезло — на экране возникла желтая полоска космограммы. С легким щелчком она отделилась от экрана и перелетела в руки Свиридову.

— Ты знала? — спросил Свиридов у Ириды, прочтя космограмму.

— Да, — ответила сирянка.

— Надо лететь, — сказал Свиридов, преодолевая дурноту.

— Сквозь пылевую на планетарном катере тебе до утра не прорваться, — сказал с экрана Второй.

— Надо, — сказал устало Свиридов.

— Может, поспишь сначала? — спросила Ирида. В ее ровном голосе впервые за последний месяц прозвучала жалость.

— Не надо меня жалеть, девочка, — сказал Свиридов, попытавшись улыбнуться. — Надо. Я прошел сквозь

льды Андромахи и огонь Белого Карлика. Я постараюсь прорваться.

— Ты прорвешься, — сказал Второй.

— Я готовлю катер, — сказала Ирида. — Надевай скафандр.

Что в ее инопланетном взоре? Неужели это любовь?

Чтобы никто не увидел, как покраснел его шрам, Свиридов отвернулся и натянул шлем.

— Надо, — повторил он. Голос его прозвучал глухо.

3

Рука в черной перчатке снова замерла над кнопками. Лениво перемигивались огоньки над пультами. Второй сигнал устремился в звездные дали...

4

Павел знал: за спиной поселок, посева, теплицы. Если он не выдержит, погиб труд всей колонии.

Он стоял на краю рощицы живых, подвижных, трепещущих деревьев, которые, ощущая его напряжение и решимость, старались отклониться, прижаться к желтой земле. Растительный мир страшился грядущего боя.

Пискнул биолокатор, вмонтированный в браслет. Опасность!

Легким движением Павел включил гравитатор, и тот рывком вознес его над поляной, над вершинами деревьев.

Биолокатор не ошибся.

Огромные лиловые лопухи на болотце расступились — оттуда черной молнией вырвалась торпеда страшного хищника — перепончатого ящера. Ломая робкие деревья, ящер рухнул на поляну, там, где секундой ранее стоял Павел. Сообразив, что потерял добычу, ящер принялся рвать когтями траву и ломать стволы.

Павел включил мини-камеру — зрелище было достойно того, чтобы запечатлеть его на видео.

Это было ошибкой. Второй ящер услышал жужжание камеры. Тень его на мгновение закрыла солнце, и Павел лишь чудом успел увернуться от живого снаряда, круто уйдя к кустам, откуда к нему уже устремился бородавочник — скользкое трехметровое существо, схожее сразу с жабой и кабаном.

Павел разрядил в бородавочника бластер, затем пере-

вернулся в воздухе так, что гравитатор чуть не разбил его о торчащую из болота скалу, и уже из-за скалы всадил очередь в разъяренную морду ящера.

Но это еще не победа. Павел знал, что на запах крови и паленой шерсти из леса вылетит вся стая. Надо отступать.

Второго ящера Павел срезал, когда тот опрокинул на него скалу, третий уже подстерегал его за болотцем. А часть своры уже пробиралась низиной к теплицам.

Поэтому пришлось вынырнуть из теплой жижи болотца, где Павел был почти в безопасности, и выскочить на открытое место, чтобы рептилии увидели своего врага.

Павел стоял, широко расставив ноги и непрерывно стреляя из бластера. Ящеры падали, корчились в судорогах, но на их месте тут же возникали новые и новые чудовища...

— Павел, — слышалось в шлемофоне. — Павел, ты еще жив?

— Сражаемся, — коротко ответил Павел. — Если продержусь еще полчаса, считай, что теплицы спасены.

— Павел, тебя вызывает Земля.

— Не могу отвлекаться.

Павел взмыл в небо и оттуда расстрелял группу бородавочников, что пытались прорваться по узкой промоине.

— Павел, — слышалось в шлемофоне. — Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Еще этого не хватало!

Павел бился врукопашную с небольшим птеродактилем, который умудрился вцепиться ему в спину.

— Павел! — Вызов повторили.

— Эх, — сказал Павел, отрывая хищный клюв птеродактилю. — Не успел я спасти теплицы.

С этими словами Павел включил силовое поле и гравитацию на полную мощность. Лес стремительно пошел вниз. Один из ящеров еще пытался преследовать его, но быстро отстал и присоединился к стае, которая понеслась крушить лабораторию и теплицы...

А Павел уже вышел в стратосферу, к катеру, что ждал его на орбите.

5

Рука в черной перчатке набрала новую комбинацию на пульте.

Техники готовили каналы прибытия.

— Сигнал стопорится, — сказал Координатор.

— На пути «черная дыра», — ответил техник. — Чтобы пробить ее, нужна энергия всей Солнечной системы.

— Отдайте приказ. От моего имени. Переключить все станции Земли и Марса на мой пульт.

— Слушаюсь, — сказал техник.

6

Сто тридцать шесть этажей.

Общая высота восемь метров сорок сантиметров.

Лаконичные линии, строгие очертания...

— Как ты думаешь, — спросил Джон. — Им понравится?

— Должно понравиться.

— Как много от этого зависит, — сказал Джон.

— Земля будет благодарна нам, — согласился Джавад.

Да, земные специалисты неплохо потрудились. Жители планеты, трудолюбивые, схожие с муравьями двухсантиметровые насекомые согласились, наконец, рассмотреть просьбу землян. В благодарность за дьявольский трехмесячный труд Джавада и Джона — разведчиков с Терры.

Четыре посольства направляла туда Земля в надежде получить формулу лекарства от смерти. И четыре посольства отправлялись обратно несолоно хлебавши. Жители планеты не соглашались на обещания и посулы Земли. Но Джавад и Джон сделали то, что не удалось их предшественникам. Используя земную технологию, они построили небоскреб, который пришелся по душе не только населению, но и правительству планеты. И вот сейчас разведчики ждали встречи с правительственной комиссией. За небоскреб и проектную документацию они должны были получить лекарство от смерти.

— Еще два часа трудных переговоров, — сказал Джон. — И — домой!

— Два часа? Я думаю, что и пятью часами не обойдемся. Ты же знаешь, какие у них сложные обычаи и правила. Каких трудов нам стоило зазвать комиссию на стройку!

— Надеюсь, ты не забыл, с какой ноги делать первый шаг и как кланяться канцлеру правой руки?

— Нет. Я помню это, даже если ты разбудишь меня среди ночи. А ты сам не забыл, как обращаться к Государственной шляпе?

Джон улыбнулся.

— Мы заслужили отдых, — сказал он. — Я так устал от бескопечных уменьшений и увеличений! Утром во мне два сантиметра, к обеду я возвращаюсь в естественное состояние, затем снова уменьшаюсь для споров со спабженцами, затем снова...

— И так далее, — подытожил Джавад. — Я даже порой забываю, какого же я размера в самом деле.

И, нажав на кнопку биотранслятора, он тут же начал уменьшаться.

— Погоди, Джавад! — взмолился Джон. — Рапо!

— Пора, — откликнулся Джавад, ставший размером с кошку. — Сейчас придет их комиссия.

Он продолжал уменьшаться.

В ухе Джона щелкнул динамик космической связи.

— Говорит центр, — услышал разведчик. — Связь шесть-особый.

— Что случилось? — спросил Джон.

— Тревога. Срочно вызывают на Землю.

Джон посмотрел под ноги. Там, далеко внизу, у входа в небоскреб, уже собирались зеваки. Среди них стоит Джавад. С минуты на минуту появятся кареты правительства.

— Мы не можем, — сказал Джон. — Через пять минут у нас решающая встреча. Земля получит лекарство от смерти.

Джон не смог скрыть ликования в голосе.

— Шесть-особый, — повторила Земля. — Тревога первой степени! Вы поняли?

— Я понял, — сказал Джон горько.

Джавад быстро увеличивался. Он тоже услышал вызов.

— Пошли? — спросил Джон.

— Пошли, — сказал Джавад.

Они смотрели вниз. Из-за холма появились первые правительственные кареты.

— Что же, лекарство от смерти подождет, — криво усмехнулся Джон. И они поспешили к космическому кораблю.

7

Черный палец дотянулся до следующей кнопки.

— Можно давать свет? — спросил техник. — Многие в Солнечной волнуются. Звонят. В детских садах кухни отключились. Холодильники под угрозой.

— Мигнутку, — резко оборвал его Координатор. — Следующий вызов потребует дополнительной энергии. Земля потеряет.

8

Жюльен замер в тени нависающего над ними мрачно-го замка. Специальный плащ делал его практически невидимым. Третьи сутки, питаюсь лишь таблетками, он подслушивал переговоры пиратов Серого облака с графом Кровового залива. Что привело их сюда, в мирный край Облачной империи?

Жюльен напрягся... Слышны шаги. Некто, стуча по каменным плитам подкованными каблуками, вошел в потайной зал. Кто это? Жюльен осторожно достал светящийся регистр походок. Частота и амплитуда шагов совпадала с характеристиками шагов Эж-о, лилового палача бандитов Гонгсры... Но ведь мы были уверены, что этот голубчик отдыхает на Марциальных водах!.. Теперь все встает на свои места. Вот он, дьявольский, столь опасный для Галактики союз пиратов, графа и мафии. Теперь главное не упустить ни слова из их переговоров...

Жюльен включил дистанционно управляемые магнитофоны замка.

Каждое слово, каждый вздох долетали теперь до него...

Но раньше чем Жюльен услышал первые слова, в его ухе застрекотал галактический вызов:

— Внимание! Шесть-особый. Тревога номер один.

— Я не могу, — прошептали в микрофон посиневшие от холода губы Жюльена. — Я на задании.

— Шесть-особый!

— Это угроза всей Галактике.

— Тревога первой степени!

Жюльен выключил микрофоны и пополз кустами к прогалине, где под кучей сучьев скрывался его гравитолет...

9

— Последний вызов, — произнес Координатор. — И можете переключать снабжение энергией на Солнечную систему.

— Слушаюсь, — сказал техник и склонился к пульту связи.

Черная рука вновь протянулась к кнопкам вызова...

Базиль отозвался не сразу.

Батискаф попал в объятия щупальцев стометрового кальмара, и Базиль старался вырвать батискаф из ловушки, не убив последнего гиганта юрского моря.

А кальмар все тянул и тянул батискаф в глубину...

Нет, положение не было безвыходным. Базиль дал напряжение на внешнюю оболочку. Голубые электрические искры вспыхивали на присосках щупальцев. Но кальмар не намеревался отпускать жертву.

Базиль понял — пора включать вибрацию.

Батискаф задрожал.

— Вызов шесть-особый, — раздалось в батискафе. — Говорит Земля. Срочное возвращение.

— Не могу, — сказал Базиль. — Меня не пускают.

— Без шуток, — он узнал голос самого Координатора. — Тревога первой степени.

— Тогда мне придется убить суперкальмара — а он в Красной книге.

— Постарайтесь обойтись без жертв, — сказал Координатор. — Но это не отменяет приказа.

— Значит, стрелять?

— Шесть-особый!

В батискафе воцарилась тишина.

— Прости, старина, — сказал Базиль, включая лазерную пушку...

Они входили поочередно в зал Координационного совета.

Разведчики высшего класса. Резиденты на дальних мирах. Элита галактической службы.

Сдержанно здоровались. Проходили к свободным креслам. Свиридов сразу задремал. Он очень устал.

Координатор вошел в зал. Он успел переодеться. На нем был алый плащ, на груди — большая Звезда Галактики.

Разведчики не вставали. Это не принято. Здесь все равны. Здесь каждый разделяет ответственность перед человечеством, неся свой крест на дальних планетах и в открытом космосе, защищая Землю от неожиданностей, внося свой вклад в покорение Вселенной. Избранные. Лучшие из лучших.

Координатор окинул их суровым, но теплым взглядом.

— Можете садиться, — произнес он, занимая свое кресло.

Эта фраза, оставшаяся с давних времен неравенства, была частью ритуала.

— Я созвал вас, — сказал Координатор, — так как в том возникла крайняя необходимость.

Собравшиеся хранили молчание. Все понимали, что никогда Координатор не посмел бы оголеть столь ответственные участки незримого галактического фронта, если бы не крайняя нужда.

— Сегодня к нам поступил следующий документ. — Координатор вынул из папки желтоватую пластину. — От Земгосстата Координационному совету. Срочно. Секретно, — прочел Координатор. Разведчики замерли в своих креслах. — Требуем по всем постам и станциям в трехчасовой срок предоставить отчетность по использованию канцелярских кнопок и бумаги. А также дать объяснения по вопросу перерасхода шестидесяти трех скрепок за период по январь текущего галактического года. Исполнение ответа возложить лично на Верховного координатора.

Воцарилась мертвая тишина.

Координатор положил пластину на сверкающую мраморную поверхность стола.

— Положение серьезное, — произнес он. — Сейчас же каждый из нас, включая меня, приступает к составлению отчета. Надеюсь, что скрепки будут найдены. Как, мальчики?

Свиридов, сон которого как рукой сдуло, ответил за всех:

— Мы не подведем вас, шеф.

ЮБИЛЕЙ «200»

Славная дата — двести лет эксперименту. В истории Земли ничего подобного не было. И не будет.

Второй месяц кипят страсти. Сама длительность начинания подавляет воображение. Создатели Эксперимента кажутся небожителями.

На самом деле они существуют лишь в виде портретов в актовом зале.

Дарвин. Мендель. Павлов. Соснора. Джекобсон. Сато.

Разумеется, первые три благополучно скончались, не подозревая об эксперименте. Три последних не дожили до первых результатов.

Мне надоела суета. Я пошел в библиотеку. Там тоже не было покоя.

Марусенька уговаривала пылесос — дефицитнейший, ценнейший, драгоценнейший прибор в институте — заняться книжными полками. Фоллианты на верхних полках — Бюффона, Кювье и Ковалевского никто не трогал лет сто. Я представил себе, сколько поднимется пыли, если пылесос согласится приступить к работе. К счастью, пылесос не соглашался. Как мог, он пытался втолковать Марусеньке, что его услуги пужнее в институтском музее, куда тоже придут гости.

Марусенька увидела меня, развела ручонками и спросила:

— Мне, что ли, лезть туда?

Очевидно, она ожидала, что я проявлю себя настоящим джентльменом и ради ее прекрасных глаз буду ползать по стремяшкам.

Я ушел вместе с пылесосом.

В саду тоже не спрячешься. По странному приказу хозяйственника Скрышника решено перекопать клумбы, на которых только что отцвели тюльпаны, и сотворить одну клумбу в виде цифры 200. Главный садовник Кумарасвами сидел на бортике ящика с рассадой и тоскливо следил за тем, как культиваторы перемалывали плоды его весенних трудов.

Я пошел на детскую площадку. Детишек не было — п понятно, почему: ставили новую ограду. Силовую, пе-

видимую, современную, которую потом все равно придется убрать. Представьте себе, какие комплексы она будет вырабатывать в малышах, которые неизбежно будут пачкаться на несуществующую стену. Начнутся неврозы, истерики, все будут искать причину душевных травм у молодых шимпанзе, пока какой-нибудь шустрый аспирант не догадается, что виной всему — невидимость ограждения.

Молодняк резвился на берегу пруда. Там, к счастью, землечерпалка уже перестала мутить воду и бортики были подновлены и покрашены.

Я уселся в тени под явором, который, по преданию, посадил сам академик Соснора, и принялся наблюдать за детенышами.

Малыши с визгом носились по берегу, а воспитательницы семенили за ними, потому что им казалось, что кто-нибудь из малышей обязательно упадет в еще холодную воду и схватит воспаление легких.

По внешнему виду малышей я без труда угадывал генетические линии.

Некий живший больше века назад самец Старк, со светлой короткой шерстью, гомозиготный по этой доминантной аллели, утвердил себя на много поколений вперед. Вот и проявляется доминантный фенотип в малышах, не подозревающих о своем прадедушке. Помните скошенные подбородки и всяческие носы Габсбургов — на шестьсот лет, если не больше, это очевидно по портретам, как бы ни старались приукрасить их художники.

Мы покоряем природу, а природа находит обходные пути, чтобы не покоряться.

Эксперимент был внешне скромен, но потенциально помпезен и полон человеческого тщеславия: заменить бога, проследить возможность очеловечивания обезьяны, призвав на помощь радиационную генетику, включив все кнопки биологических достижений. Мы, всесильные, берем стадо шимпанзе, мобилизуем механизм направленных мутаций, выводим из тупика эволюционный процесс, ускоряем его в тысячи раз и глядим — дозволено ли нам природой создать себе братьев по разуму.

Те, кто плашировал эксперимент, добивались кредитов и помещений, убеждали академические и финансовые органы в том, что именно этот эксперимент жизненно важен для человечества, понимали, что сами до результатов не доживут. То есть понимали абстрактно — в самом деле ни один человек не верит в свою смерть, и каждому

из них казалось, что произойдет чудо — через тридцать лет уже народится мутант, который пачнет изъясняться словами или выучит таблицу умножения.

Разумеется, все получилось так, как планировали, и ничего не получилось из того, на что надеялись.

Я как-то отыскал в библиотеке журнал двухвековой давности с бойкой статьей о том, как разыскивали по зоопаркам и институтам самых умных, сообразительных, продвинутых шимпанзе и как свозили их в выделенный уже для них комплекс, нечто среднее между зоопарком, генетическим институтом и общежитием для пидиотов.

Энтузиазмом на первых порах компенсировали нехватку кредитов и оборудования. Далеко не каждый в мире понимал, что этот эксперимент должен иметь предпочтение перед прочими занятиями человечества. Но во главе института стоял Соснора, который в качестве подсобного хозяйства и полигона развел коров и увеличивал их лактацию до фантастических пределов. Так что с помощью этих безмозглых тварей, стадо которых по традиции и теперь пасется за прудом, он доказал рентабельность предприятия. Но сам умер лет через десять.

Последующие директора постепенно расширяли хозяйство, пополняли стадо шимпанзе новыми особо одаренными экземплярами, чтобы не получилось чрезмерной изоляции генетического пула и не возник новый вид обезьян, не способный к скрещиванию с себе подобными дикими особями.

Удивительно то, что, несмотря на социальные катаклизмы, кризисы и конфликты, институт так и не закрыли. В самом принципе его деятельности было нечто пререальное. Это была наука с претензией на божественность.

Директора приходили и уходили, научные сотрудники получали зарплату, делали открытия, защищали диссертации, уходили на пенсию — в общем, их деятельность ничем особым от деятельности их коллег в смежных институтах не отличалась.

По ходу дела менялись генетические концепции и методы, возникали новые теории или возрождались забытые. Вдруг возвышался неоламаркизм, затем торжествовал постдарвинизм, это сменялось временным господством джекобсонизма, чтобы вернуться к суперменделизму.

И каждый из поворотов теории в той или иной мере отражался на политике по отношению к шимпанзинному

стаду. Наиболее перспективные особи попадали в неми-
лость, и их списывали в зоопарк или медицинские ин-
ституты, достижения оборачивались поражениями, чтобы
потом, через несколько лет, превратиться в эпохальные
открытия.

Взлеты, поражение, упадки и смены теорий больше
всего были по шимпанзе. Создавая из обезьян новую поро-
ду разумных существ, люди отказывали тем, кто нахо-
дился в процессе очеловечивания, в гуманности.

Относительно недавно был случай, когда списали в
зоопарк и окончательно там погубили Снегу-4, самку,
которая обладала удивительными математическими спо-
собностями. И по простой причине: ее шеф — человек
милый, талантливый, но беспутный, насмерть поругался с
заведующим отделом и ушел из Эксперимента. А кроме
него, никто не пользовался доверием и любовью Снеги-4.

Поэтому я, будучи участником Эксперимента, сотруд-
ником его, остаюсь в глубокой внутренней оппозиции к
тому, что у нас делается. За двести лет направленных
мутаций, беспрестанных тестов и операций, изменений
среды обитания, медикаментозных опытов — стабильных
результатов так и не добились. Более того, по мере роста
результатов углубляется пропасть между гомо-шимпами
и экспериментаторами. Как ни странно, человек, придумавший
эксперимент, ухлопавший в него двести лет и
кучу средств, сгубивший на нем сотни умов, которые мог-
ли бы принести куда больше пользы в иных областях
знания, внутренне не готов к тому, чтобы признать отказ
от собственной исключительности. Гомо-шимп остается
для людей не более как шимпом. Объектом для исследо-
вания, но не партнером по разуму...

Эти мои довольно печальные мысли были прерваны
криком бихейвористки по прозвищу **Формула**.

— Джон! — кричала она, несясь по коридору. —
Где ты?

Увидев меня, она спросила:

— Джона не видел? — по ответу не стала дожидать-
ся и помчалась дальше. Меня она не выносила.

Джон — старый гомо-шимп, ублюдок с анатомической
точки зрения — почти безволосый, лобастый и коварный,
пользуется доверием некоторых сотрудников Эксперимен-
та. Тот небольшой набор слов, которым он оперирует, ка-
жется им вершиной собственных достижений. Когда при-
езжает комиссия или важные гости, Джона всегда к ним
выводят, и Джон изображает из себя пародию на челове-

ка, даже натягивает трусики и красную рубашку, делает вид, что поддерживает элементарную беседу, оставаясь не более как попугаем в окружении обезьян.

Мне стало любопытно, зачем Формуле в такой сумасшедший день мог понадобиться Джон. Я подошел к окну и увидел, как Формула крутится возле бывшей клумбы, повторяя: «Джон, где ты? Джонни, ты мне нужен!»

Разумеется, Джон, который дремал где-то поблизости, лениво вышел из кустов, поскребывая могучий живот, отращенный на подачках.

— Джонни! — возрадовалась Формула. — Прими новенькую. Ты лучше всех это умеешь делать. Умоляю!

— Что дашь? — спросил Джон.

— Джонни, я никогда тебя не обижала.

— О'кэй, столкнемся, — сказал Джонни и пошел за Формулой, сгибаясь чуть больше, чем нужно, и касаясь земли пальцами рук. На этот раз он был лишь в синих трусах и в белой кепочке, сдвинутой на затылок, так чтобы любой мог полюбоваться его лобными долями.

Они вышли к стоянке флаеров. Транспортный флаер стоял на лужайке, возле него маялся могучий детина из службы заповедников, который держал на цепочке молодую самку шимпанзе, которая была насмерть перепугана полетом и необычной обстановкой.

При виде хорошенькой самки гордость генетической науки Джон на глазах превратился в самца шимпанзе. В похотливом мозгу Джонни уже шевелились надежды на то, что он получит молодую наложницу.

Джонни начал вытягивать трубкой губы, подпрыгивать, бить себя кулаками в грудь, видно, вообразив, что он — горилла. Разумеется, он еще более напугал самочку.

А девушка была в самом деле сказочно хороша. Мозг ее еще спит, да никто и не намерен вдуть в него разум. Она нужна лишь для продолжения рода, для свежей крови, свежей струи генов, уродец в среде уродцев.

— Джонни, не пугай ее, — взмолилась Формула. — Объясни ей, что она будет жить в хороших условиях и никто не стеснит ее свободы.

Удивительная наивность, свойственная ряду паших научных сотрудников. Создав расу гомо-шимпов, они полагают, что и обыкновенные шимпы владеют какой-то примитивной речью и могут объясняться с такими, как Джонни. Джон же, никогда не знавший языка диких сородичей, языка примитивного, но всеобъемлющего, дол-

жен был поддержать свое реноме. Разумеется, ничего у него не получилось. Девушка скалилась и старалась спрятаться за ноги детины из службы заповедников, полагая, что обыкновенный человек все же лучше, чем неизвестной породы зверь в белой кепочке.

Я понял, что создалась тупиковая ситуация, и вышел на лужайку. Я направился прямо к девушке, уверенный, что мне удастся успокоить это несчастное создание, зная, как я красив и силен.

И все кончилось бы благополучно, если бы не эта проклятая Формула.

— Стой! — завопила она. — Джон, удержи этого хулигана! Ну где же шланг? Надо вызвать Прокопия!

Джон нахмурился, изображая из себя защитника человечества, хотя в душе он трепетал передо мной.

Я встретил восхищенный и доверчивый взгляд самочки шимпанзе и улыбнулся девушке. Я знал, что отныне она — моя покорная рабыня.

Я тихонько фыркнул, чтобы ее успокоить, и дал ей понять гримасой, что ей здесь нечего бояться.

Затем под вопли Формулы и угрожающие жесты ничего не понявшего, по встревоженного детины из службы заповедников я прыгнул на ближайшее дерево, раскочурился на нижнем суке, перемахнул наверх, ощущая спиной восторженный взгляд девушки.

По проторенной дорожке, деревьями, не спускаясь на землю, я добрался до спален.

Несколько гомо-шимпов отдыхали на койках, кто-то читал, молодежь разглядывала видеоленты. В этот день мы старались поменьше попадаться на глаза людям.

— Что случилось? — спросила Дзитта, старая умная гомо-шимпа, наделенная великолепной интуицией.

— Черт бы побрал эту Формулу, — сказал я. — Там привезли чудесную крошку для размножения, а она надеялась, что Джонни введет девушку в курс дела. А этот старый козел...

— Не падо, все ясно, — сказал Барри, откладывая видеогазету. — Знаешь, сегодня утром меня снова таскали на тесты.

— И ты думал о бананах?

— И об апельспине, — засмеялся Барри. — Они разочарованы.

— Ой, трудно, — сказала Дзитта. — Особенно я боюсь за молодежь. Рано или поздно с их аппаратурой они нас обязательно поймают.

— А какая альтернатива? — спросил я. — Все признать? Стать объектом нездоровой сенсации и остаться существами третьего сорта, говорящими куклами?

— Только бы сегодня все обошлось, — сказал Барри.

— А меня утром спрашивал о тебе доктор Вамп, — сказал молодой гомо-шимп Третий. — Он спрашивал, уважаю ли я тебя.

— А ты что сказал?

— Ты знаешь, что я плохо говорю, очень плохо говорю, совсем не знаю слов, такой вот тупой гомо-шимп, я сказал, что Лидер хорошо, Лидер сильный.

— А девушка красивая? — спросил Второй.

— Не твое дело, — сказал я. — Будешь в лесу, отыщешь себе еще красивее.

— Сейчас идет совещание, — сказал Барри. — Надо идти послушать.

— Боюсь, что сегодня ничего интересного не узнать, — сказал я. — Они обсуждают, как разместить гостей и что приготовить на банкет.

— Может, тогда я схожу? — спросил Барри.

— Нет, я сам, — сказал я. День был ответственный, и я не мог доверять даже старине Барри.

Я выбрался через окно, поднялся по ветви винограда на крышу и прополз до окна комнаты совещаний.

Все эти маршруты были проверены поколениями гомо-шимпов, и если мы далеко уступаем людям в интеллекте, то, к счастью, не разучились лазить по деревьям, так как законы леса в нас куда сильнее, чем законы города, и двухсот лет слишком мало, чтобы наша кровь и мышцы забыли о прошлом. Я не знаю, кто был первым, пробравшимся скрытым снаружи желобом к окну комнаты совещаний. Это было, наверное, много лет назад, когда какой-то гениальный гомо-шимп понял, что разум его развит настолько, что лучше научиться утаивать от людей то, что проснулось в нас — сознание собственной исключительности.

Люди окружили нас тончайшими приборами. Людям кажется, что любой всплеск мысли, любое движение чувств тут же будет отражено самописцами и биофонами. И они совершили ошибку — они построили весь этот мир по своему образу и подобию, они старались сделать и нас по своему образу и подобию. Но природа оказалась сильнее. Связи в мозгу, реакции, блокировка центров

мозга — все это зиждется на иных, чем у людей, правилах. Мы это поняли, когда обнаружили, что, доверяясь показаниям приборов, люди судят о нас ложно.

И с тех пор по мере того, как мы развивались, подчиняясь людским приборам и жестоким экспериментам, которые были направлены не только на то, чтобы развить наш мозг, но и на то, чтобы лишить нас приватности, чтобы мы всегда и при всех обстоятельствах ели, спали, думали, действовали, любили, размножались только на глазах, под контролем, мы учились скрытности, учились обманывать приборы — мы не второсортные люди, не уроды, мы новая раса, гомо-шимпы!

Я подобрался к комнате совещаний вовремя. Как раз разговор шел о моей персоне. Выступала Формула.

— Он становится невыносим, — щебетала она. — И оказывает дурное влияние на остальных особей.

Ах, подумал я, как они избегают слова «животное»!

— Конкретнее, — сказал доктор Вамп.

Если выделять из числа людей наиболее положительных «особей», то доктор, безусловно, отнесется к таковым. Может, потому, что он ведает лечебницей и зачастую выступает против излишне жестоких экспериментов — он лишь лечит, и у него добрые руки.

— Сегодня к нам поступила новая самочка, — сказала Формула.

И перед моими глазами возник сладостный образ девушки, пугливо прижимающейся к ногам детины из управления заповедников.

— Я попросила Джона помочь мне.

— Джон не вызывает во мне доверия, — сказал Батя, директор института.

— Но он очень развитое «существо», — сказала Формула. — И часто нам помогает. Обезьянка очень боялась. Наверное, мы вдвоем справились бы с ней, но тут из кустов выскакивает этот Лидер и бросается на животное. По-моему, он хотел надругаться над зверушкой.

Формула была близка к слезам. Черт побери, подумал я, за какое чудовище она меня примет ет!

Неожиданно Формула получила подкрепление от Скрыпника, заведующего хозяйством.

— Он становится диким зверем, — сказал толстый Скрыпник. — Он вчера забрался на склад и распотрошил половину запасов. Я не представляю, как мы будем устраивать банкет.

Я внутренне улыбку. Операцию на складе проводили мы с Дзиттой и двумя молодыми ребятами. На первое время нам будут нужны сгущенное молоко, кое-какие консервы. Но похищение пришлось обставить в форме бандитского налета. Иначе бы оно вызвало подозрение.

— Пора его отдавать в зоопарк, — сказала Формула. — Если он и мутант, то регрессивный. Обыкновенная обезьяна. Опасность для большого эксперимента.

— А что вы скажете, доктор? — спросил директор.

— Я воздержусь от выводов, — сказал доктор. — По моим наблюдениям, Лидер здоровый индивидум, обладает авторитетом в стае.

— Вот именно, в стае, а мы стремимся создать общество! — воскликнула Формула.

— А что вы думаете? — директор обратился к заведующему контрольно-измерительной лабораторией, моему главному противнику, которого мы не без успеха водили за нос, зная, когда нужно изгнать из головы все мысли, кроме мыслей о еде.

— Уровень интеллекта невысок... — Контрольщик углубился в свои записки, извлекая их из карманов, раскладывая на столе, путая мои данные с данными других голо-шимпов, и в результате запутал все настолько, что директор остановил его. Затем он спросил мнение других специалистов. Все были единодушны. Я — хулиган, плохо влияю на молодежь, и от меня надо избавиться.

С одной стороны, мне все это было приятно слушать, потому что это значило: я их провел. С другой — любому разумному существу обидно, когда его хотят отправить в зоопарк.

— Подытоживаю, — сказал директор. — Лидера готовить к отправке. В полной тайне. Созвонитесь с зоопарком в Сухуми, оттуда есть запрос. Полагаю, что лучше всего это сделать нынче ночью. Теперь перейдем к другим заботам. Во сколько прилетает рейсовый с гостями?

— В семнадцать тридцать, — сказал Скрипник. — Мы его паркуем на запасном поле, машина большая.

Об этом флаере я знал. Он прилетит из Австралии. Остальные гости будут слетаться на малых машинах. Нам нужен именно этот флаер.

Ну что ж, мне можно было уходить. Я узнал две важные вещи.

Во-первых, время не терпит. Если мы сегодня вечером не сделаем задуманного, ночью меня тайком, подло, пре-

дательски, люди отправят в зоопарк. Второе — пужная нам машина с половины шестого будет стоять на запасном поле — удивительная удача! Запасное поле окружено лесом, и подходы к машине скрыты зеленью.

Я спустился в сад.

С некоторой грустью я смотрел на пруд, на спортивную площадку, на классные комнаты. Никогда я уже не увижу этого мира, в котором я вырос, осознал себя и свой долг перед расой.

Ну что ж, всему на свете бывает конец, вспомнил я чьи-то слова. Даже сказке бывает копец.

В спальне меня ждали.

— Все в порядке, — сказал я. — Флаер прилетает в семнадцать тридцать. Стоит на запасном поле.

Моя информация была встречена возгласами радости.

О решении отослать меня в зоопарк я говорить не стал. Недоброжелатели, а их немало даже в маленьком сообществе, сочтут меня эгоистом, спасающим шкуру.

Мы наблюдали сверху, как съезжались гости. Так как уже наступал вечер, а юбилейные торжества состоятся лишь завтра, то с гомо-шимпами гости пока не должны были встречаться. Лишь идиот Джонни, конечно, шастал между приезжими, фотографировался с ними и говорил банальности, которые поражали гостей, как поражает заявление попугая: «Полка дурак, сам дурак».

Еще засветло с большими предосторожностями мы перетащили из лесных тайников поближе к флаеру некоторую часть грузов. Мы не намеревались в Большом лесу, на берегах Конго становиться дикими животными. Мы забирали с собой и учебные микрофильмы для детей, и запас голокассет, кое-какие приборы и инструменты — в общем, начиналось великое переселение маленького народца. Народца, которому надоело быть подопытным кроликом. И который обрел вождя в моем лице.

Вечером в саду зажгли иллюминацию. Подъезжали все новые гости, под яблонями Скрипник поставил длинные столы с закусками. Перед сном к гостям вывели малышей, которые хором спели песню «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Гости умилялись.

Я тайком проверил, все ли нужные замки сломаны.

Темнело. Все было готово.

Хорошо бы они не догадались оставить стражу у большого флаера.

Флаер мне поправился. Он был в самом деле велик, я на таком еще не летал, никто из наших не летал. Но

мы знали, как работает автоматика. Мы полетим низко, они хватятся, когда мы будем уже над Африкой.

Луна была ущербной, так что мы двигались свободно, почти не прячась. По крайней мере здесь люди с нами не могут сравниться.

Все стихло. Лишь из окон гостиницы и дома сотрудников, отданного гостям, доносились голоса и песни. Тем лучше, пускай веселятся. Завтра их ждет большое разочарование. Некого будет им демонстрировать.

— Слушай, — спросил я мудрую Дзитту, — мы берем Джонни или оставляем?

— А ты как думаешь?

— Я бы его оставил людям в утешение.

— Я с тобой согласна. Тем более что с нами он не будет счастлив. Он привык к комфорту, а мы от него отказываемся.

Третий привел детей. Детей сопровождали матери, дети были сонные и капризничали.

Мы быстро посадили их во флаер. Как хорошо, что люди столь самоуверенны, что даже не оставили у него никакой охраны, даже запереть его толком не сумели.

Дзитта пересчитала гомо-шимпов.

— Шестьдесят четыре «особи», — сказала она с улыбкой. Она умела копировать Формулу.

— Все? — спросил Барри. Он уже поднялся внутрь. Он будет вторым пилотом.

— Стой, — сказал я. — Мы же ее забыли!

— Кого? — не поняла Дзитта.

— Девушку, которую привезли сегодня. Неужели ты хочешь, чтобы она досталась Джонни?

— В лесу ты найдешь невесту и получше, — попытался передразнить меня Третий.

Я так зарычал на него, что он шустро залез во флаери, полагаю, будет молчать до Африки.

— Не делай глупостей, — сказала Дзитта, — ты переполошишь весь институт.

— Нет, — сказал я твердо. — Устраивайтесь удобнее. Я скоро буду.

Большими прыжками я помчался к изолятору.

Как назло дверь была заперта. Я подошел к окну. Окно было непробиваемым, ничем его не возьмешь.

С той стороны из темноты на меня смотрели большие прекрасные глаза девушки. Она понимала, что я пришел к ней. Она расплющивала о стекло свои большие губы,

как бы зазывая меня. Глупая, милая, неразумная тварь.

В два прыжка я оказался на крыше. Отвинтить вентиляционную решетку было делом двух минут. Я спешил, и представлял себе, как волнуются мои соплеменники. Без меня мог начаться бунт — ведь зачастую лишь моей железной волей удавалось удержать их в повиновении.

Вот наконец решетка летит в сторону.

Но кто-то идет по дорожке.

Пришлось лечь, прижаться к крыше.

Я почуял запах Джонни. Этого еще не хватало. Я чуть не рассмеялся! Романтическое приключение! Соперник во тьме!

Я услышал, как этот недоумок стучит в стекло, вызывая девушку. Жуткая ревность обуяла меня. Но что делать? Затеять с ним драку?

Тогда мне в голову пришла рискованная идея.

— Кто здесь шляется? — спросил я громким басом, подражая директору. — Немедленно спать! Иначе отправлю в зоопарк.

Мой розыгрыш подействовал. Раздались быстрые шаги — Джонни перетрусил и покинул поле боя.

Теперь следовало спешить втройне. Меня могли услышать. Особенно я не выносил сторожевого робота, который, правда, вступает на вахту лишь после полуночи. Мы хотели его сломать, но, разумеется, природное наше легкомыслие победило — забыли.

Я проник в вентиляционный люк. Там было тесно.

Я загудел, призывая девушку. Она поняла. Протянув вниз руку, я нащупал ее нежные длинные пальцы.

Я помог ей выбраться на крышу.

Она доверчиво последовала за мной.

Какое счастье! Она всем своим видом, каждым движением говорила: «Ты мой избранник».

«Ты у меня еще научишься говорить», — подумал я.

У флаера начиналась паника. Я исчез, указаний нет. Дзитта еле удерживает все мое воинство внутри. Барри накинулся на меня с упреками. Я передал ему барышню и сам быстро прошел к креслу пилота.

— Внимание! — сказал я. — Всем занять места. Матери — держите детей. Мы спешим. Нас ждут леса Африки. Нас ждет свобода!

Через стекло я кинул прощальный взгляд на институт. Некоторые окна еще светились. Старинное здание, построенное по моде XX века, темной громадой поднималось над деревьями.

Я провел рукой над пультом, мысленно включая автоматику. Загорелись огоньки на пульте.

Я набрал код — я знал, как это делать. Направление... Загорелась карта Северного полушария. Я нашел на ней Конго. Дотронулся указкой до нужной мне точки. Дал старт. Флаер быстро пошел вверх.

Сзади верещали ребяташки.

Институт провалился в темень.

Огни на земле тускнели. Мы пронзили редкие облака. Машина поворачивалась, ложась на нужный курс.

Я смотрел на карту передо мной. Тонкая зеленая полоска — наш маршрут — начала расти и изгибаться к югу. Я задумался.

Неожиданно я почувствовал прикосновение.

Я обернулся. Моя возлюбленная стояла рядом. Она хотела быть со мной.

Я улыбнулся ей.

— Мы в безопасности, — сказал я Барри, который сидел в соседнем кресле. — Они нас не догонят.

— Они могут поднять машину с аэродрома на пути.

— Вряд ли, — сказал я. — Они до сих пор не хватились. А если и хватились, то не догадаются, куда мы делись.

И в этот момент сам зловеще вспыхнул экран связи.

Первым моим движением было желание спрятаться, скрыться от глаза экрана. Я пригнулся.

Ахнул рядом Барри.

Но потом я понял, что скрываться нет смысла. Лучше встретить опасность лицом к лицу.

На экране было лицо директора института. Батя был серьезен.

— Лидер, — сказал он. — Я знаю, что ты здесь.

— Я здесь, — сказал я, выпрямляясь. — И вы можете убить нас, но вы не сможете остановить нас.

— Лидер, — сказал Батя. — Может, ты хочешь, чтобы наш разговор был без свидетелей? Тогда скажи Барри, чтобы он ушел.

— Хорошо, — сказал я.

— Я останусь, — сказал верный Барри. — Я не боюсь.

— Директор прав, — сказал я. — Выйди. У тебя длинный обезьяний язык.

Барри обиделся. Он медленно вылезал из кресла, ворчал что-то. Девушка оробела, она смотрела на меня, на директора, который ее не замечал. Он знал, что она ни-

чего же понимает. В отличие от многих других, директор знал всех нас в лицо.

Я протянул руку — пилотская кабина невелика — и закрыл дверь.

— Что вы хотите сказать? — спросил я. — В чем ваш ультиматум?

— Это не ультиматум, — сказал директор. — А только информация.

— Прощу. — Я отчаянно трусил. Против меня был весь мир — три миллиарда людей.

— Лидер, вот уже несколько лет, как мы осознали, что приборы наши не дают объективной картины вашего состояния. Мы не сразу и не единодушно поняли, что наш Эксперимент удался. Удался даже более, чем мы на то рассчитывали. Двести лет работы накладывают стереотипы поведения на экспериментаторов. Мы закоснели. Но когда мы поняли, что загнали вас, наших младших братьев, которым мы дали разум, не спрашивая их разрешения, в тупик, привели к необходимости таиться...

— Вы давно это поняли?

— Давно.

— Почему вы тоже таились?

— Потому что не могли прийти к общему мнению, потому что неизвестно было, как продолжать Эксперимент, потому что надо было передавать ответственность за него тем, кто вырос у нас на глазах... это сложно. Может быть, со временем мы сядем с вами, Лидер, и обсудим эту проблему за чашкой чая.

Я понял, что впервые за двести лет к шимпанзе обращаются на «вы».

— Простите, — сказал я твердо, сжимая руку девушки. — Но мы не вернемся. Опыты кончились!

— Да я же не спорю! — ответил директор. — Хотя мне, честно говоря, жаль с вами расставаться. Я прожил рядом с вами двенадцать лет. Ты был еще младенцем, когда я пришел в институт.

— Я помню, — сказал я. — Но мы не вернемся.

— Летите, вас никто не задерживает. И учтите, что в багажном отделении флагаера лежит запас продуктов. Вы же взяли очень мало, а прежде чем вы освоитесь, детям нужна калорийная пища.

— Значит, вы все знали! — и вдруг я понял, что это — удар. Удар по моему самолюбию, по моему тщеславию, по моей тайне...

— Не расстраивайтесь, — сказал директор. — Это не

уменьшает ваших заслуг. Вы сделали не меньше, чем весь институт. Я говорю искренне.

Я знал, что он не притворяется. У нас, гомо-шимпов, куда лучше, чем у людей, развита интуиция. Мы еще многому можем людей научить.

А директор как будто угадал мои мысли.

— Я надеюсь, что вы сможете нас многому научить. И поэтому нам надо было расстаться. Вовремя. Вы нашли выход, которого не могли найти мы.

— И сегодняшнее заседание с решением отправить меня в зоопарк...

— Было частично инсценировано. Мы уже давно знаем, что вы подслушиваете все наши совещания.

— И Формула? — Этого я не мог вынести.

— Доктор Пименова не в курсе, — улыбнулся директор. — Она бы никогда не согласилась отпустить вас в тропический лес, где вся вода некипяченая.

— Ничего, — сказал я с облегчением, — с ней остался ее любимый Джонни.

Дверь сзади открылась. Я обернулся. Там торчали встревоженные морды Дзитты и Барри.

— Все в порядке, — сказал я. — Полет продолжается.

Я протянул руку, чтобы отключить связь, и понял, что экран связи погас.

— Это был директор? — спросила Дзитта. — Чего он хотел?

— Он требовал, чтобы мы вернулись, — сказал я твердо. — Но я ему отказал. Полет продолжается.

На морде Барри было восхищение. Я победил самого директора.

Дзитта сощурилась. Не поверила. Но промолчит.

Я погладил по голове девушку.

Не буду я учить ее говорить, подумал я. Наш разговор с директором следует оставить в тайне. Президент республики гомо-шимпов должен быть выше подозрений.

ПОКАЗАНИЯ ОЛИ Н.

Меня зовут Ольгой. Мне шестнадцать лет. Я проживаю в поселке Гроды, перешла в десятый класс. Отец оставил маму, когда мне было три года, мама работает медсестрой в больнице.

Эти показания я даю добровольно, по собственной инициативе.

Об Огоньках я узнала в первый раз два года назад, когда по телевизору показывали первый из Огоньков, который нашли в Кении. Может быть, о них говорили раньше, но я не помню.

Я как сейчас вижу изображение на экране телевизора — белая капля, которая касается земли и дрожит. Обозреватель сказал, что это удивительное и еще неразгаданное природное явление. Вернее всего — следствие вулканической активности. Ученые изучают температуру и характер явления. Тогда это не произвело впечатления, может, потому, что Огонек был маленький и разрушений не причинил.

В следующий раз об Огоньке говорили в передаче «Очевидное — невероятное». Оказалось, что этих Огоньков в той местности насчитывается несколько, а один из них стал причиной большого лесного пожара. Два ученых, которые обсуждали эту проблему, высказывали соображения, что раз температура Огоньков очень велика, такой на Земле раньше не наблюдали, значит, это плазма. В местах, где горит Огонек, всегда есть движение воздуха, который сгорает в его пламени. Один из ученых говорил, что Огонек — это шаровая молния, только стабильная, а другой уверял, что это природная ядерная реакция. Хотя радиации не отмечено.

Я не могу сказать, когда Огоньки стали обыкновенным делом. Сначала о них говорили только по телевизору и в газетах, на последней странице, где пишут о всяких курьезах. Потом стали говорить все чаще, потому что Огоньки оказались не такими уж безобидными. И главное — они стали появляться в разных концах Земли. Я помню, как меня поразили кадры Огонька в озере Чад. Из озера бил фонтан с паром, а изнутри его подсве-

чивало — это было похоже на фонтан на Сельскохозяйственной выставке в Москве.

В июле приехала тетя Вера. Она живет в Перми. Она рассказала, что у них там много разговоров об Огоньке, который нашли на колхозном поле. Там играли мальчишки, один из них подбежал слишком близко и обжегся. Этот огонек оцепили войсками и всех из деревни выселили. Но в газетах тогда еще о наших Огоньках не писали.

В первый раз я испугалась, когда показывали большой Огонек в Риме. От него начался пожар — выгорело несколько кварталов. Представляете — вокруг черные балки, пепел, а посреди на пустыре горит Огонек.

В августе я видела по телевизору, как в Соединенных Штатах бомбили Огонек в пустыне Невада. Над пустыней стояли пыльные столбы, вспыхивали красные взрывы. А потом показали Огонек. Он переместился на дно воронки от бомбы и горел даже ярче, чем прежде. Будто нажрался взрывчатки.

В сентябре прошлого года было опубликовано сообщение Организации Объединенных Наций. И тогда всем стало известно, что в мире уже горит несколько сот Огоньков и с каждым днем число их увеличивается.

Ким, он учился со мной в одном классе, принес тогда к нам домой памятку. Там было написано, как следует себя вести, если ты увидел неучтенный Огонек, и куда звонить: не приближаться, по возможности огородить это Явление и следить, чтобы не произошло возгорание.

Хотя уже наступала осень и Огоньки начали менять жизнь всей нашей Земли, для нас, в поселке, они оставались иллюзией. Мы продолжали ходить в школу, и Сесе, это прозвище Сергея Сергеевича, все так же кидал свою папку на стол и говорил: «Здравствуйте, громодяне». Мы ездили всем классом на картошку. Так как все время шли дожди, работать в поле было трудно. Дожди шли везде, и говорили, что виноваты в этом тоже Огоньки. Те из них, что возникли на дне озер, рек и океанов, вызывали сильное испарение и нарушали баланс погоды. Осенью Огоньков было уже так много, что мы почти не видели солнца.

Тогда, в поле, это и случилось.

Был ветер, дождь перестал, и почему-то нам не хотелось уходить в сарай, где нас разместили. Ребята разожгли костер, мы пекли на нем картошку. Мы немного пели. Потом пришли Ким с Селивановым, они ходили в магазин за водкой, но водки не достали. Я была рада,

потому что уже видела раз Кима пьяным, и это было отвратительное зрелище.

Даша Окунева начала спрашивать Сесе, что он думает об Огоньках, насколько это опасно. Сесе отвечал, что нельзя недооценивать эту опасность для человечества только потому, что естественно желание человечества спрятать голову в песок. Потом Сесе понял, что никто его не слушает, потому что не хотелось слушать о плохом. Я тогда подумала, что мы ведем себя, как будто говорим об ороре. Эта болезнь для других, не для нас, есть специальные люди, ученые, которые занимаются вакцинами и лекарствами. Они в конце концов обязательно догадаются и сделают, что надо. А раз мы не можем помочь, то лучше не думать. Ким тихо сказал мне, что нужно поговорить. Я знала, о чем он будет говорить. Все знали, что я ему нравлюсь. Он хотел, чтобы мы ушли в кусты на краю поля и он меня целовал, но у меня не было настроения, а Селиванов стал кричать от костра, что все видит. Я сказала: «Не надо, Ким, пожалуйста. Совсем не такой день».

— А какой день? — спросил он. — Дождика нет.

Чтобы переменить тему, я спросила, как его мать. Клавдию Васильевну еще на той неделе увезли в Москву, в больницу, у нее подозревали орор.

— Ты не бойся, — сказал он, — я не заразный.

— Я не боюсь.

Мне стало его жалко, потому что многие избегали их дом. Можно сколько хочешь говорить, что орор не заразный, но люди боятся, потому что ведь как-то заражаются.

Я поцеловала Кима в щеку, чтобы он не думал, что я такая же, как другие. Наверное, он понял. Он пошел обратно к костру, ничего больше не говоря.

Мы стали есть печеную картошку.

Даша Окунева сказала:

— Смотрите, к нам кто-то идет.

Она показала на деревню — там загорелся фонарик, будто кто-то шел по полю.

Фонарик не приближался. Он горел совсем низко, у самой земли. Сесе вдруг поднялся и пошел туда.

Он прошел шагов сто, не больше. Оказалось, что фонарик горит недалеко — просто в темноте не разберешь.

Сесе остановился и сказал:

— Вот и дождался.

Он сказал негромко, но мы в этот момент молчали и услышали. Я сразу поняла, что он имеет в виду.

Мы подошли к Огоньку. Огонек, словно живой шарик, лежал на земле. Он был ослепительно белый, и жар от него чувствовался в нескольких шагах, хотя размером Огонек был не больше детского кулака.

Он был такой легкий, словно воздушный шарик, который прилег на землю, уставши летать, но мы знали, что у этих огоньков очень глубокие корни — тонкие плазменные нити, пронзающие землю на метры. Уже были случаи, когда такой корешок доставал до подземной воды и получался взрыв. Может взорваться что угодно, но Огонек останется, несокрушимый, легкий и даже веселый.

Летучая мышь пролетела низко над Огоньком, не сообразив, что это такое. Она исчезла, ярко вспыхнув.

Мы вернулись к нашему костру и затушили его.

Картошку доедать не стали — никому не хотелось. Мы пошли к правлению, чтобы позвонить в Москву. Даша Окунева начала плакать. Холмик, лучший математик, хороший мальчик, он мне в прошлом классе нравился, пока я не начала ходить с Кимом, стал говорить Даше, что ничего страшного не случилось. Уже сообщали, как успешно идут опыты по нейтрализации.

Мы не оборачивались и шли быстро.

В правлении мы прошли к председателю в кабинет. Он был очень огорчен тем, что пропало несобранное поле. Приедут из Москвы, обнесут его колючей проволокой, будут делать опыты, топтать картошку. Теперь никого туда не загонишь убирать — кто пойдет?

Председатель нас отпустил, но автобуса или грузовика в колхозе для нас не нашлось, и мы пошли пешком, до станции было шесть километров. Моросил дождь. Мы сидели на влажных скамейках под навесом у кассы. Середина сентября, а казалось, что вот-вот пойдет снег. Холмик разговаривал с Сесе, а я слушала. Ким с Селивановым исчезли — им сказали, что какая-то тетка у станции продает самогон.

За лесом, по ту сторону путей, пылало багровое зарево. Что-то горело. Зарево отражалось в очках Сесе и Холмика. Они казались мне маршпанами, которые живут совсем иначе, чем обыкновенные люди. И еще я тогда подумала — может, совсем не к месту: пройдет десять лет, и если мы будем живы, то Сесе и Холмик сравняются. Сейчас между ними большая разница в десять лет, а тогда будет небольшая разница в десять лет.

— Почему мы должны все и всегда понимать? —

слышала я слова Сесе. — Обезьяна не знает, как работает двигатель, но знает, что ее везут в машине.

— Но мы же люди, — говорил Холмик. — Мы учимся. Всему можно научиться.

Они разговаривали совсем как равные.

— Научиться с какой целью?

— Чтобы решить задачу, чтобы побороть препятствие.

— Я далек от мысли одушевлять природу, — сказал Сесе, — но я вижу определенную закономерность между нашими усилиями и ее реакцией на них. Пока человек был частью природы и подчинялся ее законам, антагонизма не было. Но стоило ему выделиться из нее, как он себя ей противопоставил. И началась война.

— Вы нас так не учили, — сказал Холмик, и мне показалось, что он улыбнулся.

— До некоторых вещей лучше доходить собственным умом.

— И вы видите в этом систему? — спросил Холмик.

— Скорее логику. Действие — противодействие. Когда-то давно люди перебили мамонтов. Жрать стало печего. Но они выпутались — научились пахать землю. Заодно свели леса. Снова кризис. И снова люди выпутались. Последнее столетие мы называем техническим прогрессом. А для меня это — эскалация противостояния. Ты этого не помнишь, а мы учили всеобъемлющую формулу: «Нам нельзя ждать милостей от природы. Взять их — вот наша задача». Это лозунг грабителя.

— Я помню другой лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают», — сказал Холмик.

— В применении к природе он неплохо действовал.

Из темноты надвинулся ослепительный глаз товарного поезда, и мимо пошли стучать темные громады вагонов. Грохот поезда заглушил слова Сесе и Холмика. Я видела, как они сдвинули головы и кричат друг другу.

— Любая система должна иметь средства защиты, — услышала я голос Сесе, когда поезд наконец утих. — Мы двинулись в наступление, будто нашей целью было убить Землю. И наше наступление начало наталкиваться на проблемы, которые были рождены этим наступлением. Мы губим леса и реки, уничтожаем воздух, повышаем уровень радиации. Результат — вспышки новых болезней. Рак, СПИД, орор...

— Вы не правы, Сергей Сергеевич, — сказал Холмик. — Это не ответ природы, а наше действие. Мы воздух портим и сами им дышим.

Было очень тихо, и их слова были слышны всем. Все слушали, о чем они говорят.

— Возьмите орол, — сказал Холмик. — Сначала его вирус бил исподтишка, выборочно, а потом мутировал. Но вирус потому изменился, что его травил лекарствами, а он хотел выжить. Значит, это не природа, а только один вирус. И мы его сделали таким.

— А я убежден, — сказал Сесе. — Мы бьем по природе, и чем сильнее, тем сильнее отдача. Пока мы не угрожали самому существованию биосферы, а лишь вредили, то и ответные шаги системы были умеренными. Они не угрожали нам как виду. От рака умирают выборочно и чаще к старости. Но как только мы перешли критическую точку, то и меры стали кардинальными.

— Вы имеете в виду Огопки? Тогда я тоже не согласен.

Кто-то в полутьме хихикнул. Холмик обожает спорить.

— Почему?

— Потому что Огопки угрожают не людям, а всему живому.

— Не знаю, — сказал Сесе. — Когда система, лишенная разума, сопротивляется системе, претендующей на обладание разумом, действия ее непредсказуемы.

— А вот идут две системы, обладающие разумом, — сказал Карен.

По платформе шли Ким и Селиванов. Они шли, упершись плечами друг в друга, изображали пьяных. Я сразу поняла, что им ничего не удалось отыскать. И Сесе тоже обрадовался. Селиванов начал говорить нарочно пьяным голосом, кто-то из мальчиков спросил, чего же они не позаботились о друзьях, а Селиванов сказал, что на вынос не дают. Сесе вдруг озлился и потребовал, чтобы Селиванов перестал говорить глупости.

— Все равно сгорим, — сказал Ким. — Трезвые, пьяные — все равно. Все глупо.

— Пересташь, Ким, — сказала Даша Окунева. — Мне тебя слушать противно.

Тут пришла электричка. Она была почти пустая. Мы сели тесно, чтобы согреться, — в электричке было холодно и полутемно. В последние недели электричество экономили, некоторые электрички сняли, на улицах горели лишь редкие фонари, а днем в домах отключали свет.

Огонек возле нашего поселка появился в конце

октября. Даже страшно, но он не появился раньше. Как-то Холмик сказал в классе:

— Какая-то дискриминация.

Он предпочитал шутить об Огоньках. Это делали многие, у них защитная реакция. Потому что люди ко всему привыкают. Даже к Огонькам. Никто их уже не считал. Загорался новый, сообщали куда следует, потом приезжала команда, обносила место проволокой, ставила предупредительную надпись, хотя и без этого никто к Огоньку не подойдет. И уезжала. А мы продолжали жить. Потому что сами по себе Огоньки никому не вредили. Не Огонек ухудшал нашу жизнь, а то, что с ним было связано.

У Кима умерла мать, но ее не привозили хоронить — ороров хоронят в больнице. Ким с отцом ездили туда. Раньше Ким сидел на парте с Селивановым, но, когда стало известно, что мать Кима умерла от орора, Селиванов отсел от него. Я подумала тогда, что мне надо было сесть рядом с Кимом. Но я не села. Потому что не хотела, чтобы кто-то подумал, что я навязываюсь.

В конце октября было объявлено, что в этом сезоне школу не будут топить и потому с морозами занятия прекращаются. Это было крушением. Наверное, в Москве или в Париже люди больше знают и говорят об Огоньках. А у нас это не так заметно. Конечно, свет на улицах не горит, но у нас он всегда горел плохо. И в магазинах совсем плохо с продуктами, даже с хлебом перебой. Но нас никогда хорошо не снабжали. И дожди идут, и яблоки не созрели. Но картошку все-таки собрали. Люди скупали в магазинах соль и спички. Мать тогда сказала: «Как будто война». Я не поняла, а она пояснила: «В России, когда грозит война, всегда скупают соль и спички». Когда Сесе пришел в класс и сказал: «Ребята, занятия на неопределенное время отменяются», мы сначала обрадовались, потому что не поняли, что это означает. А когда поняли, почти все испугались. Даша спросила: «А как же я в институт попаду?» Но еще глупее была реакция Карена. Он как закричит: «Да что вы! Если мы в этом году десятый не кончим, я в армию загремлю!» Кто-то сказал: давайте будем рубить дрова. Но Холмик напомнил, что у нас в школе батареи центрального отопления. Сесе старался быть оптимистичным. Он объяснил, что перерыв будет только до весны. Как только потеплеет, уроки возобновятся.

Он сказал, что мы будем заниматься самостоятельно по программе, которую он даст, что можно будет ходить

и нему домой на консультацию. Он так горячо говорил об этом, что мы поняли — школа для нас кончилась.

Ким пошел со мной из школы. По улице мело. Мы прошли мимо нашего Огонька. За последние дни он подрос, стал с футбольный мяч, жар чувствовался издалека, воздух стремился к Огоньку, чтобы стореть.

Ким дошел до моего подъезда. Наш дом двухэтажный, барачного типа, остался еще с первых пятилеток. Мне было холодно. Ким хотел сказать что-то важное. Поэтому он закурил. Потом сказал:

— Оля, выходи за меня замуж.

Это было совсем неумно. Бред какой-то.

— Ты что, — сказала я. — Я об этом не думала.

— Я серьезно говорю, — сказал Ким. — Если ты боишься орора, я тебе даю слово, нам всем — отцу, братьям и мне — в Москве делали анализ, мы не носители.

— Я не о том. Мне шестнадцать. Тебе тоже. Я понимаю, если бы тебе было двадцать, ну хотя бы восемнадцать. Люди не женятся в нашем возрасте.

Я, наверное, говорила очень серьезно, как учительница, и он рассмеялся.

— Ты дура, — сказал он. — Люди не женятся, а мы поженимся.

— Ты мне очень нравишься, — сказала я. — Честное слово. Но давай поговорим об этом через два года.

— Через два года мне будет не с кем говорить, — сказал Ким. — Потому что мы с тобой будем мертвые.

— Не говори глупостей.

— Ты это тоже знаешь. И трусишь. А я тебе говорю — пускай у нас будет счастье.

— Это не счастье, — сказала я. — Это не счастье — делать то, чего мы не хотим.

— Я хочу.

— Ты глупый мальчишка, — сказала я. — Ты струсил.

— Я не струсил. Я лучше тебя все понимаю. Мать умерла при мне.

— При чем тут это?

— Это все вместе, — сказал он. — Почему ты хочешь подохнуть просто так, даже не взяв, что успеешь?

— Ты думаешь, если плохо, то все можно?

— Завтра об этом догадаются все. И законов не будет.

— Пир во время чумы? — спросила я.

— Конечно. Ты подумай. Завтра я спрошу.

— Уходи, — сказала я. — Мне это неприятно.

Тогда Ким ушел.

Я смотрела ему вслед — такой обыкновенный мальчишка. Хорошенький, чернявый, на гитаре играет, в авиа-модельном кружке занимался. .. мне стало страшно.

Я не пошла домой. Был день, светло. Только холодно.

Я поднялась по Узкой улице, мне захотелось посмотреть на наш поселок сверху. Дверь в церковь была открыта, и перед ней было много людей. Внутри пели. Я никогда не видела столько людей у церкви. А внутрь даже не войдешь. Я вдруг подумала — сейчас по всей Земле люди куда-то идут, чтобы только не сидеть дома. Одни в церковь, другие в мечеть, третьи в райком, потому что хочется найти защитника.

Я вышла на обрыв. Река рано замерзла, и по ней неслась снежная пыль. Ветер был ужасный. Я вдруг посмотрела вверх и подумала — почему все говорят про летающие тарелочки? Вроде бы их видели? Почему они не прилетают? Надо бы сказать маме про Кима — может, это смешно? Но потом я поняла, что мама страшно испугается. Она каждый день приносит с работы разные истории — про самоубийства, про грабежи. На станции я сама видела военные патрули — никогда еще не было военных патрулей на тихой пригородной станции.

Я не знаю, почему стало так плохо с энергией, но это было во всем мире. Но вечерами телевизор еще работал. Через несколько дней после того как закрылась школа я увидела по телевизору съемку Земли со спутника — не помню, как называлась передача. Мама тоже была дома. Она была еле живая после дежурства. Она рассказывала, как в больнице делают железные печки. Им привезли дрова — некоторые предприятия закрыты, и все рабочие рубят лес, чтобы не замерзли города. Мы сидели дома и смотрели на Землю сверху. И тогда я поняла, как плохи наши дела. Огоньков на Земле было много тысяч. Они горели точками по всей суше, только не равномерно — в некоторых местах они пылали вплитык друг к дружке, в других местах, например, в тундре, их было куда меньше. Всего их было столько, словно какой-то злодей истыкал иголкой полотно Земли.

Мы с мамой знали, что Огоньки не только плодятся, но и растут. Мама сказала:

— Еще совсем немного, и они соединятся.

— И тогда будет новое Солнце, — сказала я.

А диктор говорит какие исследования ведут ученые разных стран. Потом об энергетическом голоде и измене-

нии климата на Земле из-за того, что происходит интенсивное испарение. Облачный слой почти непроницаем для солнечных лучей, и растения не получают света и тепла. Произошло резкое похолодание, и надо ждать сильных бурь.

Я почти перестала спать. Я видела, что случилось, когда новый Огонек проснулся под домом у станции. Дым был до самых облаков — весь дом сгорел, даже не все успели убежать. И мне начало казаться, что если я засну, то под нашим домом тоже появится Огонек.

Потом налетела первая из больших бурь. Она началась ливнем. Ливень сожрал снег, на реке появились полыньи. Ливень не прекращался, а ветер становился все сильнее. С некоторых домов сорвало крыши. Мать оставалась в больнице — их перевели на казарменное положение. Бензин выдавали только «скорой помощи» и милиции.

Я как-то пробралась к маме — очень проголодалась. Дома все кончилось, я думала, что у мамы должна быть какая-то еда. Больные лежали в коридорах и в холле. Некоторые просто на полу. Мать вынесла мне тарелку супа, и я съела его, сидя у горячей печки. Мама была совсем худая, глаза красные, она сказала, что у них больше всего сердечников и астматиков — люди умирают от перепадов давления и недостатка кислорода. Еще там было много покалеченных и даже с огнестрельными ранами — мама шептала мне про то, как милиция сражалась с бандой грабителей и было много убитых и раненых. Она велела мне переехать в больницу — тут спокойнее, а дома опасно. К тому же в больнице не хватает санитарок, от меня будет польза. Потом она рассказала, что возле госпиталя был Огонек, но он погас — это было так страшно, что приезжала комиссия из Москвы.

Когда буря немного улеглась, я пошла домой, чтобы собрать вещи, и встретила Холмика. Я его давно не видела. Холмик сказал, что он в дружине — они собирают в магазинах и на складах продукты и теплые вещи, свозят это в станционные склады, которые охраняют солдаты.

Он сказал:

— Каждый должен делать полезное.

Мы с ним стояли совсем близко от Огонька, что горит во дворе дома. Я к этому Огоньку привыкла. И каждый день смотрела, как он понемногу растет.

Холмик был возбужден, ему казалось, что он делает что-то нужное. А я, насмотревшись на больших, сказала ему со злостью:

- Ты хочешь, чтобы мы умерли на неделю позже?
- Я хочу, чтобы не умирали.
- У тебя есть надежда?

Я спросила это потому, что хотела, чтобы меня кто-нибудь успокоил.

— Да, — сказал Холмик. — Потому что Земля больна оспой. А каждая болезнь проходит.

Мы отошли под стену, где меньше дуло. Я спросила, кого из наших он видит, Холмик сказал, что с ним в дружине Селиванов. Я удивилась, потому что Селиванов тупой и бездельник.

— Люди меняются, — сказал Холмик. Потом подумал и добавил: — У нас тоже не все ангелы. Некоторые берут для себя.

Но не стал объяснять, относилось это к Селиванову или нет. И еще сказал:

— Вчера расстреляли трех мародеров. Только я не пошел смотреть.

— А Кима не видел?

— Нет. Селиванов говорил, что он уехал в Москву.

— Спасибо.

— Ты за что благодаришь?

— Неважно. А как Сесе?

— Ничего, — сказал Холмик, но так сказал, что я сразу же стала настаивать: что случилось?

— Он болеет, — сказал Холмик. — У него орор.

— Не может быть!

— Почему?

— Ты сам видел, сам?

Я поняла, что все могут умереть или заболеть, а Сесе не может, не должен, потому что это несправедливо!

— Да, — сказал Холмик. — Я его видел.

— Он в Москве? В больнице?

— Нет. Он дома. В Москве больницы переполнены. Теперь, у кого орор, остаются дома.

— Я скажу маме — его возьмут к нам в больницу.

— Не возьмут. И он сам не согласится. Он же понимает.

— Что здесь можно понимать?

— То, что в больницах еле справляются с теми, кому можно помочь. Орорным помочь нельзя, ты же знаешь!

— Но ведь говорили про сыворотку!

— Оля, я пошел, ладно? Некому делать сыворотку.

Он убежал, а я пошла домой. Я думала, что надо навестить Сесс. Кто за ним ухаживает? Ведь он жил один.

Я вернулась к Огоньку. Он был такой же, как вчера. Я подумала, как я мало о нем знаю. Ведь он живой или почти живой. Он растет. Он хочет нас всех убить. Или он не знает, что убивает? Между мной и Огоньком был железный столбик — его поставили, когда огораживали Огонек. Если стоять, прижавшись щекой к углу дома, то край Огонька касается столбика. Коснулся, мигнул, отодвинулся. Снова коснулся... Уйди, говорила я ему, пожалуйста, уйди... Долго смотреть на Огонек нельзя — болят глаза. Оспа Земли, повторяла я про себя. Оспа, которая может покрыть всю кожу, и тогда больной сгорит. И это случится очень быстро. Если бы я знала, что я сейчас умру, но мама будет жить и Холмик будет жить, — это было бы плохо, но не так страшно, честное слово. Но если, что вместе со мной умрут все, даже самые маленькие ребятишки и вместо всех домов и церквей, музеев и заводов будет только огонь — это страх непереносимый.

И у меня в сердце была такая боль, что я даже забыла о Сесе. Холодно-холодно и тошнит.

У самого дома меня вырвало. Может быть, потому, что я давно не ела, а тут целую тарелку супа съела в больнице. Может, от ужаса. И сколько жить в этом ужасе? Мама говорила в больнице, что у них много самоубийц, которые не сумели себя убить. Оказывается, больше половины самоубийц остаются живыми.

Я включила телевизор, но он не включился. Ливень стучал в окно, и я не сразу поняла, что там человек, который тоже стучит. Я не подумала, что это может быть Ким, и открыла. Мне было не страшно — мне было все равно.

Ким был в кожаной куртке и кожаных штанах. Совсем пижон. И кепка у него была черная, кожаная. Он отпустил черные усыки.

— Привет, — сказал он. — Где мать?

— В больнице, — сказала я. — А мне сказали, что ты в Москве.

— Я в Москве, — сказал он. — Там все лучшие люди. Я поняла, что он пьяный.

— Ты чего приехал? — спросила я. — Домой?

— Нет. Я к тебе приехал. Ты помнишь наш разговор?

— Кимуля, — сказала я. — Неужели ты об этом

можешь думать? Я сегодня была в больнице. У мамы. Ты бы посмотрел. И Сесе болен.

— Пустые слова, — сказал он и глупо засмеялся. Он сел в кресло и вытащил из-за пазухи пистолет, настоящий, черный, блестящий, словно мокрый.

— Видишь? — сказал он. — Пир во время чумы. Предлагаю участие.

— Дурак ты, Ким, — сказала я.

— Я на тачке приехал, — сказал он. — Дружок ждет. Мы славно живем. Москва большая.

— Ну чего ты выступаешь? — сказала я. — Меня ты не удивишь.

— Ты не поверила? Смотри.

Ким засунул руку в верхний карман куртки и вытащил оттуда горсть каких-то ювелирных бранзулетов.

— Хочешь? — сказал он. — Все твое!

— А зачем? Кому это теперь нужно?

— Находятся чудачки. Даже не представляешь, сколько. Меня в организации уважают. Я двух милиционеров пришил. У нас знаешь сколько баб — а я к тебе.

— Ты еще маленький, — сказала я.

Он поднял пистолет и прицелился в меня.

— Олька, — сказал он, будто играя роль, — у тебя нет выбора. Ты моя.

— Уходи, — сказала я. — Мне собираться надо, я к маме в больницу переезжаю.

Он пошел ко мне, не выпуская пистолета, и я стала отступать, мне все еще не было страшно.

Вдруг он отбросил пистолет и схватил меня.

— Я докажу! — повторял он. — Я сейчас докажу.

Он стал валить меня на диван. Он разодрал мне на груди платье и оцарапал шею. Если бы я тогда испугалась, я бы, конечно, погибла — он бы сделал все, что хотел. Но я не боялась, и мне было скучно и противно словно я смотрю со стороны. Я думала — как сделать ему больно? Простите, но я укусила его в нос. Это как-то неприлично звучит — а он закричал, и я поняла, что правильно сделала. Я побежала к открытой двери на улицу, хотя знала, что там его дружок.

Я выскочила на улицу. Там в самом деле была «Волга», за рулем сидел парень, но он не смотрел в мою сторону. Я не могла звать на помощь — была такая буря! А услышат — кто посмеет выйти?

Я обернулась и увидела, как Ким прыгнул в машину. «Волга» рванула с места.

Я забежала за угол и чуть не попала под «газик».

Это был зеленый «газик» с красной звездой на боку. Я отскочила к стене и увидела напряженное лицо солдата за рулем. И тут же «газик» затормозил — чуть не столкнулся с машиной. Ким открыл дверь и начал стрелять по «газику». Оттуда выскакивали люди. Они тоже стреляли. Один из солдат упал, головой в лужу. Был грохот и крики, а мне казалось, что это ко мне не относится. Потом все кончилось. Я видела, как солдаты занесли своего в «газик», а Кима и его дружка положили в «Волгу». Туда сел солдат, и «Волга» уехала. Офицер из «газика», в мокром плаще, подошел ко мне и спросил:

— Других не было?

— Нет, — сказала я.

— Ты иди домой, — сказал офицер. — Иди, тебе здесь нечего делать.

Лил дождь, а лужа, в которой раньше лежал солдат, была красной. Я пошла домой, но не дошла, а остановилась возле Огонька. Мне не было жалко Кима, потому что это был чужой Ким.

— Вот видишь, к чему это приводит, — сказала я Огоньку. Я была совсем мокрой, в рваном платье. И тут я увидела, что за то время, как я не встречалась с Огоньком, у него появился младший братишка. Я смотрела на железный столбик. Мой старый Огонек еще больше подрос, край его залез за столбик, а малыш был совсем маленький, как мухоморенок рядом с мухомором.

Идти в таком виде к маме в больницу было нельзя, только пугать ее. Я вернулась домой и почти сразу заснула — такая у меня была реакция.

Ночью я просыпалась от страха. Я задним числом перетрусилась. Мне казалось, что кто-то пробрался в дом, и сейчас он со мной что-то сделает, а может, убьет, но я не могла встать, чтобы проверить, заперта ли дверь.

Я проснулась поздно. Было тихо. И я целую минуту лежала совсем спокойно в хорошем настроении и думала: почему не надо идти в школу? Потом минута прошла, и я все вспомнила. Было полутемно, хотя часы показывали девять часов. Я выглянула в окно — над улицей нависла черная туча, вот-вот выплеснется. Я стала быстро собираться. Кожаная кепка Кима лежала на полу. Я выкинула ее в мусорное ведро. Потом собрала свою сумку — только самые нужные вещи, словно собиралась на экскурсию.

Но в больницу я не пошла. Я подумала, что, пока я

буду ходить в больницу, Сесе может умереть. Я оделась потеплее, перерыла всю кухню, пока нашла полпачки сахара — даже странно, что не видела ее раньше. Больше мне печего было отнести Сесе.

Я поспешила к Сесе, пока не началась новая буря. Воздух был тяжелый, и я сразу запыхалась, пришлось перейти на шаг.

У дома я встретила Шуру Окуневу, старшую сестру Даши. Она спросила меня, не видела ли я ее Петьку. Он убежал на улицу, а она волнуется. Я сказала, что не видела. И спросила: Сесе дома? Это был глупый вопрос.

— Ты что, не знаешь? — спросила Шура. — У него же орор, может, он помер.

— А ты к нему не ходила?

— Ты что! У меня ребенок. Мне бы его сохранить.

— Я к нему пойду.

— Ольга, — сказала Шура убежденно. — Нельзя. Он все равно что умер. А это верное заражение, ты у любого спроси — сегодня орор хуже чумы.

— Я пойду.

— Тогда больше ко мне не подходи, и вообще к людям не подходи! — закричала Шура.

Я понимала, что она психует: в такие дни иметь ребенка — это вдвое хуже.

Шурка побежала дальше, крича своего Петьку, а я пошла к Сесе.

Дверь к нему была открыта. Я спросила, есть ли кто дома. Сесе не ответил, и я вошла. Он был совсем плохой. Страшно худой — скелет, а на лице и на руках красные пятна. Руки покорно лежат на одеяле, и сам он покорный.

Он увидел меня — глаза расширились.

— Здравствуйте, — сказала я, — я пришла, может, помочь?

— Не подходи, Николаева, — сказал он. — Нельзя.

— Ничего, — сказала я, по осталась стоять у двери. Я даже не подозревала, что человек может так измениться. Я понимала, что он скоро умрет.

На столике стоял пустой стакан.

— Вы пить хотите? — спросила я, чтобы не стоять просто так.

— Не надо.

Я прошла к кровати, взяла стакан и пошла на кухню. На кухне было заустенне, но кто-то здесь недавно был. Значит, кто-то ходит. А я боялась.

У плиты стоял газовый баллон, и в нем еще оставал-

ся газ. Я включила его, поставила чайник, достала сахар. Вернулась к Сесе.

— Вот видишь, — тихо сказал Сесе. — Не повезло.

— Ничего, — сказала я, — вы еще поправитесь.

— Спасибо.

— А кто к вам приходит?

— Холмов.

— Холмик? А мне он ничего не сказал.

— Это опасно. Вы, ребята, не понимаете, как опасно.

— Все очень опасно, — сказала я серьезно. — Потому что мешаются люди.

— А как там Огоньки? — спросил Сесе.

— Вчера повый родился за нашим домом, — сказала я. — Совсем маленький.

Он закрыл глаза, потому что ему было трудно говорить.

— Я буду у мамы в больнице, я возьму лекарств.

— Не надо, — еле слышно сказал Сесе. — Они нужны живым.

Чайник закипел, я сделала сладкий напиток. Потом напоила его.

Сесе не разрешал, но он был такой слабый, почти невесомый, и я его все равно напоила. Мне было бы стыдно этого не сделать. Он закрыл глаза, а я сказала ему, как я его люблю, как я всегда его любила, потому что он самый красивый и умный. Еще с седьмого класса. Он вдруг начал плакать — только слезами, лицо было неподвижно. Он велел мне уйти.

На улице меня поймал такой ливень, какого я еще не знала.

Было темно, как глубокой ночью, и я даже заблудилась. Я шла и все время натыкалась на стены. Я плохо соображала. Но тут я увидела наш Огонек. Я добралась до угла дома, стояла там и смотрела на Огонек с ненавистью, как будто он был виноват в болезни Сесе.

Было все еще темно, но дождь вдруг ослаб. Я поглядела на железный столбик и увидела, что край Огонька не достает до него. А маленький Огонек не увеличился.

Я стояла и глядела на Огонек. Не знаю, сколько простояла. И тут услышала далекий крик. Почти сразу большой Огонек съежился, а второй, малыш, мигнул и исчез. Значит, правда, что они могут исчезать.

Потом я забежала домой, взяла сумку и направилась в больницу.

По дороге встретила Шурку Окуневу.

Она поднималась от реки, еле живая, словно ее палками побили. Она тащила на руках Петьку — Петьке уже шесть лет, он тяжелый, она запыхалась. Она увидела меня и начала кричать, словно я была виновата:

— Я же звала! — кричала она. — Я же звала, и никого!

— Нашла? — спросила я. — Вот и хорошо.

— Ты не понимаешь! — кричала Шурка. — Холмик утонул. Ты понимаешь — Холмик утонул! Он моего Петьку вытащил, а его унесло! Я сама видела!

— Где? — Я бросила сумку. Я побежала к реке.

Вслед кричала Шурка, потом она бежала за мной, она не замечала, что Петька тяжелый и мокрый, она все время повторяла:

— Я же не могла... он за бревно держался, он Петьку вытолкнул, а река — ты же знаешь...

Река была вздувшейся, громадной, по ней неслись бревна, части домов, какие-то ящики... Ни на берегу, ни в воде не было ни одного человека.

— Может, его выбросило на берег? — Я просто умоляла Шурку подтвердить, а она не смогла.

— Я видела — его голова, там, на середине, появилась и все...

Я взяла у нее Петьку, он устало плакал. Мы по очереди несли его на косогор. Уже наверху я спросила ее:

— Ты кричала?

— Ой, как я кричала! — ответила Шурка.

Я отдала ей Петьку.

— Согрей его, — сказала я.

— Я кричала — и никого, — повторила Шурка и ушла.

И тогда я решила, что к маме пока не пойду. Мне нужно поговорить с кем-то, кто захочет поверить.

Я дошла до станции.

Солдаты и дружинники разгружали из вагона мешки. За путями, у стрелки, горел Огонек. Я увидела того лейтенанта, который говорил со мной вчера.

— Мне надо в Москву, — сказала я. — Обязательно. Может, я ошибаюсь. Но если я не ошибаюсь, тогда есть надежда.

— Поезда не ходят, — сказал он. — Ты же знаешь. И в Москве такие пожары...

— Тогда я вам скажу.

Его позвали, но он посмотрел мне в глаза и крикнул:

— Погоди, без меня!

А мне сказал:

— Говори, девочка.

И я ему сказала про совпадения. Про то, как увеличился Огонек, когда пришел Ким, про то, как он чуть-чуть уменьшился, когда я пришла от Сесе, как погас малыш, когда Холмик вытащил Петьку, а сам не мог выбраться из реки.

Мы с лейтенантом добрались до Москвы на его «газике».

И я все это повторила здесь.

Я знаю, что есть надежда. Никто раньше об этом не догадался, потому что не искал связи между нами и Огоньками. А если нет надежды, ее надо искать там, где не искали.

Нет, я не смогу остаться здесь. Холмика нет, и некому даже напоить Сесе. Вы просто не представляете, какой он человек.

И мама, наверно, уже с ума сходит.

Содержание

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ

Шкаф неземной красоты	4
Коралловый замок	17
Шум за стеной	31
Значительные города	47
Обозримое будущее	54
...Хоть потоп!	63
Письма разных лет	77
Кому это пужно?	92
Детективная история	99
Усилия любви	114
Из жизни дантистов	127
Петушок	134

«СПАСИТЕ ГАЛЮ!»

«Спасите Галю!»	156
Хочешь улететь со мной?	177
Разум для кота	192
Тревога! Тревога! Тревога!	197
Юбилей «200»	206
Показания Оли Н.	221

Булычев К.

Б 90 Коралловый замок Рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 237[3] с., ил.

ISBN 5-235-00876-6 (2-й з-д.)

Произведения, объединенные в сборнике, посвящены морально-этическим проблемам, вопросам охраны окружающей среды. Чтобы заинтересовать читателя, автор вводит в произведения элементы чудесного, сказочного, порой гиперболизирует ситуацию с целью ярче и образнее донести мысль до молодого человека.

Б 4803010201—041 152—90
078(02)—90

ББК 84Р7

ИБ № 6706

Булычев Кир

КОРАЛЛОВЫЙ ЗАМОК

Зав. редакцией В. Володченко

Редактор М. Катаева

Художник К. Сошинская

Художественный редактор К. Фадин

Технический редактор Г. Варыханова

Корректоры И. Ларина, Н. Самойлова

Сдано в набор 30.05.89. Подписано в печать 19.12.89. А13191. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 13,02. Учетно-изд. л. 13,3. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена 80 коп. Заказ 1557.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.

ISBN 5-235-00876-6 (2-й з-д.)

80 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ